

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН

БЕДНАЯ ЛИЗА
(СБОРНИК)

Список школьной литературы 7-8 класс

Николай Карамзин
Бедная Лиза (сборник)

«Public Domain»

1792

Карамзин Н. М.

Бедная Лиза (сборник) / Н. М. Карамзин — «Public Domain», 1792 — (Список школьной литературы 7-8 класс)

ISBN 978-5-699-13811-1

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) – писатель, историк и просветитель, создатель одного из наиболее значительных трудов в российской историографии – «История государства Российского» основоположник русского сентиментализма. В книгу вошли повести «Бедная Лиза», «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена», а также сборник очерков «Письма русского путешественника».

ISBN 978-5-699-13811-1

© Карамзин Н. М., 1792

© Public Domain, 1792

Содержание

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН – ПИСАТЕЛЬ, КРИТИК, ИСТОРИК	5
Автобиография {1}	39
Повести	41
БЕДНАЯ ЛИЗА {2}	42
ОСТРОВ БОРНГОЛЬМ[33]	50
СИЕРРА-МОРЕНА[37]	57
Письма русского путешественника {3}	60
Конец ознакомительного фрагмента.	97
Комментарии	

Николай Михайлович Карамзин

Бедная Лиза

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН – ПИСАТЕЛЬ, КРИТИК, ИСТОРИК

«Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России» – это окончательное, твердо и решительно высказанное мнение Пушкина. Оно сложилось после многолетних жарких споров и полемических сражений по поводу новых произведений Карамзина (главным образом «Истории государства Российского», тома которой выходили с 1818 г.), художественной прозы и публицистики 1790–1800 гг. В этих сражениях участвовал и Пушкин, выступая с разных позиций, – в пору юности резко критиковал Карамзина, а в тридцатые годы серьезно и настойчиво его защищал.

Карамзин умер шестидесяти лет. Из них почти сорок отдано служению родной литературе. Начинал он свою деятельность в канун Великой французской революции 1789 г., а закончил – в эпоху восстания декабристов. Время и события накладывали свою печать на убеждения Карамзина, определяя его общественную и литературную позицию, его успехи и заблуждения.

Творчество Карамзина оригинально потому, что он мыслил глубоко и независимо. Его мысль рождалась в напряженном и трудном обобщении опыта бурных событий европейской и русской жизни. История и современность выдвигали перед человечеством, вступившим с начала французской революции в новую эру, невиданные ранее конфликты. Грозным представляло и настоящее, и будущее. Путешествие двадцатитрехлетнего Карамзина по Европе, во время которого он оказался свидетелем революции во Франции, явилось своеобразным университетом, определившим всю его дальнейшую жизнь. Он не только возмужал и обогатился знаниями и опытом – впечатления сформировали его личность и, главное, разбудили мысль Карамзина, обусловили его страстное желание понять происходившее не только в отечестве, но и в мире. Именно потому произведения, писавшиеся и печатавшиеся после возвращения на родину, ярко освещены пытливой мыслью. Молодой писатель уже с этого времени будет стараться давать свои ответы на вставшие перед человечеством – а следовательно, и перед ним – вопросы. Естественно, размышления и предлагаемые решения носили субъективный характер.

Художественный мир, созданный Карамзиным, был нов, противоречив, непривычно сложен, нравственно масштабен; он открывал духовно деятельную жизнь отдельной личности, а потом и целого народа, жизнь современную и историческую. В этот мир нельзя входить с предубеждением и готовыми идеями, он требует понимания и объяснения. Оттого Карамзин на протяжении полутора веков воспринимался активно; история изучения его творчества характеризуется отливами и приливами: его или превозносили, или отвергали.

Вот почему пушкинская оценка Карамзина актуальна и сегодня. Карамзин – это прошлое русской литературы, шире – русской культуры. Прошлое должно уважать. Но чтобы уважать, его надо знать. Сегодня мы еще очень плохо знаем Карамзина. До сих пор нет полного, комментированного собрания сочинений писателя. Около ста лет в полном объеме не переиздавалась «История государства Российского». Систематически перепечатывалась только повесть «Бедная Лиза», по которой и происходит знакомство с Карамзиным. Это все равно, если бы о Пушкине мы судили лишь по его повести «Станционный смотритель»...

В последние десятилетия положение стало меняться. В 1964 г. вышли избранные сочинения Карамзина в двух томах, куда вошли стихотворения, повести, «Письма русского путешественника», критические и публицистические произведения, отрывки из десятого и один-

надцатого томов «Истории государства Российского» (об Иване Грозном и Борисе Годунове). В 1966 г. в серии «Библиотека поэта» выпущено полное собрание стихотворений Карамзина. В 1980 и 1982 гг. (в издательстве «Правда») напечатаны «Письма русского путешественника». В серии «Литературные памятники» готовятся впервые тщательно комментированные «Письма русского путешественника». Появилось несколько интересных работ о жизни и творчестве Карамзина.

И все же мы по-прежнему в долгу перед большим русским писателем, критиком, публицистом, историком.

1

Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 г. в имении отца недалеко от Симбирска. Детство будущего писателя проходило на берегах Волги – здесь он научился грамоте, рано стал читать, пользуясь отцовской библиотекой. Семейный врач – немец – был и воспитателем, и учителем мальчика, он же обучил его немецкому языку.

Для продолжения образования четырнадцатилетнего отрока отвезли в Москву и отдали в частный пансион университетского профессора Шадена. Учил Шаден по университетской гуманитарной программе, главное место в ней занимали языки. В последний год пребывания в пансионе Карамзин слушал лекции в университете, о котором сохранил добрую память. Годы учения отмечены напряженным самообразованием – Карамзин по-прежнему много читал, был в курсе современной немецкой, французской и английской литературы.

Закончив занятия в пансионе, Карамзин прибыл в Петербург. Здесь он встретился со своим родственником И. И. Дмитриевым.

По заведенному порядку дворянские дети поступали на военную службу – и Карамзин поступил в один из лучших гвардейских полков. Но военная служба не привлекала юношу – он еще в пансионе проявил склонность к литературным занятиям и в Петербурге их продолжил. В 1783 г. появился в печати первый карамзинский перевод идиллии швейцарского поэта Геснера – «Деревянная нога».¹

Смерть отца неожиданно изменила его судьбу: 1 января 1784 г. он подал в отставку и в чине поручика был выпущен из армии. Больше Карамзин не служил и всю жизнь занимался только литературным трудом.

2

После устройства своих дел в Симбирске Карамзин в 1784 г. приезжает в Москву. Земляк Карамзина – масон и переводчик И. П. Тургенев – принял его в масонскую ложу, познакомил со своим приятелем, крупным русским просветителем и книгоиздателем Николаем Новиковым, сближение с которым оказало благотворное влияние на начинающего литератора.

В 1780-е гг. Новиков последовательно издавал ряд журналов: «Утренний свет», «Московское издание», «Прибавление к „Московским ведомостям“», «Детское чтение» и др., редактировал газету «Московские ведомости». Но главным делом его было издание художественной литературы – русской и иностранной в переводах, сочинений по философии, истории, социологии, учебных пособий, книг, посвященных домоводству и хозяйственным делам, различных медицинских «лечебников» и руководств.

¹ В идиллии Геснера Карамзина привлекло изображение идеальности счастливой жизни швейцарцев в свободной республике. «Вольность, сия дражайшая вольность делает счастливой всю страну», – читаем мы в переводе. Подробнее об этом см.: Кросс О. Разновидности идиллии в творчестве Карамзина. – В кн.: XVIII век. Сборник 8. Л., 1969.

Увлечение Новикова масонским учением «о братстве всех людей» привело его в масонский орден. Разделяя нравственные концепции масонов, их идеи самовоспитания, он, однако, отстранялся от мистических исканий «братьев», презирал нелепую обрядность масонов и стремился использовать орден и его денежные средства для своих просветительских и филантропических целей. Так, в частности, и была создана Типографическая компания. Оказавшись в книгоиздательском и масонском кругу Новикова, Карамзин увлекся литературным делом и вопросами нравственного воспитания. Вступая в жизнь, он стремился понять, каково назначение человека, что должно определять его поступки и цель жизни. С масонами Карамзин был связан с 1785 по 1789 г. В тот же период он сблизился с А. Петровым. И. И. Дмитриев так характеризует Петрова и его дружбу с Карамзиным: «Он знаком был с древними и новыми языками при глубоком знании отечественного слова, одарен был и глубоким умом, и необыкновенною способностью к здоровой критике... Карамзин любил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откровенен и без малейшей желчи; другой угрюм, молчалив и подчас насмешлив. Но оба питали равную страсть к познаниям, к изящному; имели одинаковую силу в уме, одинаковую доброту в сердце; и это заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одной кровлей...» Карамзин оплакал раннюю смерть своего товарища в сочинении «Цветы над гробом Агатона».²

Интерес к человеку, его разуму и страстям, к проблемам воспитания, определение цели жизни и роли в обществе – характерны для того времени. Они занимали умы богословов и масонов, писателей – сентименталистов и просветителей, находились в центре внимания философов-просветителей – Дидро, Гельвеция и Гольбаха, сочинения которых о человеке, о природе, об уме переводили и печатали в России.

Огромен был писательский и нравственный авторитет Новикова. С глубоким уважением относился к нему и Карамзин. Стоит напомнить, что в сознании современников деятельность Новикова – просветителя и масона, издателя журналов, писателя, «типографщика» – соотносилась с деятельностью Франклина – просветителя и масона, ученого и писателя, «типографщика» и политического деятеля. В одном из сочинений, посвященных Новикову, сказано: «Два человека, действовавших в одно время на обоих полушариях земли, для одной цели – Франклин и Новиков».³

Свою близость к Новикову Карамзин подчеркивал в письмах (1786) к известному швейцарскому философу, богослову, поэту, автору нравоучительных сочинений Лафатеру.

В одном из них говорится, что Новиков теперь ничего «больше не хочет писать; может быть, потому, что он нашел другое и более надежное средство быть полезным своей родине».⁴

«Более надежные средства» Новикова – это издательская деятельность, выпуск сотен книг с целью просвещения соотечественников. Новиков приучал к этим «надежным средствам» и любознательного, трудолюбивого юношу Карамзина. В 1786 г. он поручает ему перевод сочинения немецкого писателя-богослова Штурма «Беседы с богом, или Размышления в утренние часы на каждый день года».

Книга Штурма нравственно-религиозная, но ее своеобразие в том, что она как бы моделировала сочинения XVIII в., ставившие своей задачей приучать человека «размышлять» о себе, о своей природе, своих обязанностях, своем долге.

Судьба близко свела Карамзина с русским «типографщиком» Новиковым. Выполняя новиковские поручения, живя в большом новиковском доме (там помещалась и типография Типографической компании), Карамзин, естественно, знакомился и с теми журналами и кни-

² Дмитриев И. И. Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 26.

³ См.: Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, с. 18 (Приложения).

⁴ Переписка Карамзина с Лафатером. Сообщено доктором Ф. Вальдманом. Приготовлено к печати Я. Гротом. СПб., 1893, с. 20–21.

гами, которые издавал просветитель. Новиков, подчинивший всю свою жизнь служению отечеству, человек, делавший бесконечно много добра людям, служил Карамзину примером, каким должен быть настоящий человек. Деятельность юноши в просветительском центре не только позволила ему овладеть журналистским опытом, но и приучила постоянно следить за европейской литературой.

Новиков поверил в способности Карамзина, ему импонировало серьезное отношение молодого человека к литературе, нравственные искания, его желания принести пользу людям. В 1787 г. он привлек Карамзина и его друга, талантливого молодого «любослова» Александра Петрова, для редактирования, а точнее – для подготовки номеров журнала «Детское чтение». Оба редактора разрабатывали программу каждого номера в соответствии с указаниями издателя, распределяли между собой работу. Большая часть журнала состояла из переводов. Карамзин, в частности, перевел пятнадцать небольших повестей французской писательницы Жанлис под общим названием «Деревенские вечера», часть поэмы английского поэта Томсона «Времена года». В «Детском чтении» Карамзин опубликовал и первые свои стихотворения, и прозаические опыты: сюжетную «истинно русскую» повесть «Евгений и Юлия» и лирическую миниатюру «Прогулка». Последнее произведение уже предвещало будущую манеру писателя – автобиографизм, интерес к духовной жизни, любовь к природе, эмоциональный стиль рассказа.

В том же году Карамзин закончил перевод трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (работа была начата в 1786 г.) и передал его Новикову, который немедленно издал книгу.

Издание «Юлия Цезаря» примечательно и предисловием переводчика. В самое последнее время установлено, что Карамзин переводил трагедию не с французского перевода Летурнера, а с немецкого, осуществленного профессором Эшенбургом (другом Лессинга). В предисловии Карамзин использовал некоторые существенные замечания Виланда из его статьи «Дух Шекспира» (1773).⁵ Объясняя русскому читателю смысл художественного новаторства Шекспира, Карамзин выражал и свое личное восхищение могучим талантом этого писателя. Шекспир, по Карамзину, всем своим творчеством отвергал «правила», навязанные искусству классицизмом, и в этом его величие. Шекспир формировал карамзинский идеал свободного художника-гения, отрицающего всякие предписания. Верность натуре, правда жизни во всем ее многообразии, демократизм и широта интересов; умение видеть поэзию в обыкновенном, в человеке любого общественного положения. И самое главное у Шекспира – его философия человека и мастерство в создании характеров. В каждом действующем лице – короле и башмачнике, полководце и шуте – он раскрывает прежде всего человека, позволяя зрителю и читателю увидеть сокровенную жизнь сердца, живые страсти, одушевляющие личность или терзающие ее душу. «Немногие из писателей, – писал Карамзин, – столь глубоко проникли в человеческое естество, как Шекспир; немногие столь хорошо знали все тайнейшие человека пружины, сокровеннейшие его побуждения, отличительность каждой страсти, каждого темперамента и каждого рода жизни, как удивительный сей живописец».

Перевод «Юлия Цезаря» и предисловие к нему – яркое свидетельство быстрого формирования дарования Карамзина. Широкая образованность, глубокие и серьезные знания способствовали проявлению таланта, помогали вырабатывать самостоятельность. Это сказалось в выборе другого перевода – трагедии Лессинга «Эмилия Галотти», который Карамзин сделал для московского театра. Трагедию Лессинга много лет играли московские артисты. Новиков издал ее в 1788 г.

В 1787 г. Карамзин написал первое большое программное стихотворение – «Поэзия», которое напечатал в «Детском чтении» (1789). В нем раскрывается карамзинское понимание роли поэзии в истории человечества. Общая концепция двадцатилетнего поэта, вычитанная из

⁵ См.: Кафанова О. Б. «Юлий Цезарь» Шекспира в переводе Н. М. Карамзина. – Русская литература, 1983, № 2.

книг философов-богословов, утверждала божественное происхождение поэзии. Но главное в стихотворении – это вера в общественное призвание поэзии. «Во всех, во всех странах Поэзия святая Наставницей людей, их счастьем была». Она делала людей лучше, воодушевляла на подвиги:

Омир в стихах своих описывал героев —
И пылкий юный грек, вникая в песнь его,
В восторге восклицал: «Я буду Ахиллесом!
Я кровь свою пролью, за Грецию умру!»

История подтверждала высокую общественную, нравственную и патриотическую миссию поэзии. Вот почему Карамзин приходит к убеждению, что его призвание – служить русской литературе. Россия только начала создавать свою литературу. В письме Лафатеру Карамзин жаловался на бедность русской литературы: «Я не могу доставить себе удовольствия читать много на своем родном языке. Мы еще бедны писателями-прозаиками. У нас есть несколько поэтов, которых стоит читать. Первый и лучший из них Херасков».⁶ Прозаиков действительно почти не было. Но поэты талантливые (и покрупнее Хераскова) были. Был уже великий Державин – его еще, видимо, Карамзин не знает, – лишь через три года он будет его величать «первым нашим поэтом». Мнение Карамзина субъективно. Он не заметил не только Державина, но и Фонвизина, слава которого особенно была шумной после постановки в Петербурге и Москве комедии «Недоросль».⁷

Пребывание в Дружеском обществе, работа в новиковском просветительском центре способствовали самоопределению Карамзина. По свидетельству его друга, поэта И. И. Дмитриева, именно здесь «началось образование Карамзина, не только авторское, но и нравственное. В доме Новикова он имел случай обращаться в кругу людей степенных, соединенных дружбою и просвещением».⁸

Карамзин чувствовал себя готовым к самостоятельной литературной и журнальной работе. Но перед этим он твердо решил совершить путешествие. Оно было необходимо и для завершения образования, и для проверки тех идей и истин, о которых Карамзин узнал из сочинений писателей и философов. Русский путешественник надеялся, что получит ответы на свои вопросы лично от тех, чьи сочинения читал, смело предполагая встретиться с Лафатером и Гердером, Гёте и Бартолеми, Кантом и Виландом. Предположения и надежды оправдались...

Отъезд означал и разрыв с масонским обществом. Уважая людей, искренне делавших добро людям и занимавшихся нравственным усовершенствованием, он решительно не принимал «нелепой обрядности» масонской ложи. Карамзин предупредил московских друзей, что «принимать далее участие в их собраниях» не будет. Ответ их, вспоминал позже Карамзин, «был благосклонный: сожалели, но не удерживали, а на прощание дали мне обед».

В середине мая 1789 г. через Тверь, Петербург и Ригу выехал в дальнейшее путешествие по Европе двадцатитрехлетний русский писатель Николай Карамзин.

⁶ Переписка Карамзина с Лафатером, с. 20.

⁷ Известно, что Карамзин присутствовал на первом представлении «Недоросля» и, следовательно, был свидетелем огромного успеха комедии. За короткое время она трижды издавалась в России и была немедленно переведена на немецкий язык и издана в Вене.

⁸ Дмитриев И. И. Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 25, 26–27.

3

Посетив Пруссию, Саксонию, Швейцарию, Францию и Англию, Карамзин вернулся на родину в сентябре 1790 г. Возвращался он с твердо принятым решением издавать с нового года собственный журнал. Во время краткого пребывания в Петербурге он познакомился с Державиным. Начинаящий журналист (издатель журнала), щеголевато одетый путешественник привлек внимание знаменитого поэта, ему понравились умные рассказы об увиденном в Европе; он пообещал посылать в его журнал свои новые стихотворения.

Местом своей деятельности Карамзин избрал знакомую ему Москву. Несомненно, этому способствовали не только дружеские связи, но и деловые, завязанные еще до путешествия.

Решение стать издателем журнала с определенным литературно-философским направлением было значительным общественным поступком начинающего писателя. Следуя примеру (единственному!) Новикова, Карамзин отказывается от какой-либо государственной службы – он не хочет быть чиновником. Ему – журналисту и писателю – дорога независимость. Он разделял мнение своего современника С. Глинки, видевшего главную заслугу Новикова, «определившего свой век», в том, что он «двигал вслед за собою общество и приучал мыслить».⁹

По этому пути собирался идти и Карамзин. Он писал, что «в России литература может быть еще полезнее, нежели в других землях: чувство в нас новее и свежее; изящное тем сильнее действует на сердце и тем более плодов приносит. Сколь благородно, сколь утешительно помогать нравственному образованию такого великого и сильного народа, как российский».

Непосредственное влияние на выбор Карамзиным своей деятельности оказало время – время широкого распространения идей Просвещения и, как казалось в 1790–1792 гг., воплощения в жизни великих истин, провозглашенных философами; время, когда «законы разума всенародно возглашаются». Время требовало активного общественного служения: «...блажен тот из смертных, кто в краткое время жизни своей успел рассеять хотя одно мрачное заблуждение ума человеческого, успел хотя одним шагом приблизить людей к источнику всех истин, успел хотя единое плодородное зерно добродетели вложить рукою любви в сердце чувствительных и таким образом ускорил ход всемирного совершения!»

Карамзин искренне стремился подчинить свою деятельность этой благородной цели. Издание «Московского журнала» и должно было помогать ускорению хода «всемирного совершения». Тем самым определялась и программа журнала – он включал и русский, и западноевропейский материал: русского читателя должно было держать в курсе идейной жизни эпохи.

Решение Карамзина издавать литературный журнал, задачей которого явилось бы распространение просвещения и «рассеивание заблуждений», было, несомненно, отважным. После жестокого подавления крестьянского восстания под руководством Пугачева (1775) Екатерина II круто изменила свою политику. Она объявила себя «казанской помещицей», подчеркнув тем самым общность интересов помещиков и самодержицы. В 1780-е гг. она уже не заигрывала с просветителями, не стремилась внушать подданным, что в России правит просвещенный монарх. Начавшаяся в 1789 г. французская революция перепугала Екатерину II – ее правительство стало преследовать передовых деятелей (Фонвизина, Княжнина), запрещать издание «подозрительных» книг, закрывать журналы. В условиях, когда началось гонение на Новикова, когда у него отняли типографию, когда готовился его арест, Карамзин и решил занять на общественном поприще место журналиста, издателя.

В ноябре 1790 г. в «Московских ведомостях» Карамзин опубликовал объявление об издании с января ежемесячного «Московского журнала», в котором кратко изложил его будущую программу, предупреждая читателей о принципиально антимасонском характере своего

⁹ Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895, с. 13.

издания. Бывшие друзья-масоны резко осудили «брата Рамзая» за это. Карамзин не дрогнул, остался верен своим планам и продолжал готовить очередные номера «Московского журнала». Важное место в них заняли сочинения русских писателей. Карамзин сумел привлечь многих талантливых поэтов. Это и авторитетнейший старый поэт М. М. Херасков, и прославленный Державин. Откликнулись и молодые даровитые литераторы И. И. Дмитриев. Ю. А. Нелединский-Мелецкий, Н. А. Львов, С. С. Бобров и др.

Но большинство произведений, напечатанных в «Московском журнале», принадлежали самому Карамзину. Он опубликовал значительную часть «Писем русского путешественника», несколько повестей («Бедная Лиза», «Лиодор», «Наталья, боярская дочь»), лирические прозаические миниатюры («Деревня», «Фрол Силин, благодетельный человек» и др.), печатал свои стихи, выступал рецензентом русских и иностранных книг и спектаклей, переводчиком. Именно «Московский журнал» принес известность и славу Карамзину-прозаику. Его приветствовал и благословлял сам Державин.

В 1794 г. Карамзин, собрав свои прозаические и поэтические произведения из журнала, выпустил их отдельной книгой, которая была встречена с энтузиазмом читающей публикой.

Читатели журнала знакомились и с иностранной литературой: с отрывками из сочинений Стерна («Сентиментальное путешествие» и «Жизнь Тристрама Шенди»), повестью Мармонтеля, переводом поэм Оссиана, отдельных сцен из поэмы «Саконтала» («Шакунтала») индийского поэта Калидасы и др. Печатались в разделе «Смесь» «анекдоты» – интересные факты и события из биографий различных деятелей – прошлого и настоящего, «особливо из жизни славных новых писателей», познавательные статьи («Нечто о мифологии», «Соломон Геснер» и др.), антимасонское по своему содержанию подробное повествование о жизни и похождениях известного авантюриста XVIII в. Калиостро и т. д.

Но, пожалуй, главным источником сведений об идейной жизни европейских стран и прежде всего революционной Франции являлись постоянные разделы в журнале – «О иностранных книгах» и «Парижские спектакли». Именно здесь с наибольшей отчетливостью проявлялась общественная позиция Карамзина, его отношение к французской революции. Карамзин рекомендовал русскому читателю сочинение активного участника революции Вольнея «Развалины, или Размышления о революциях империи», книгу Мерсье «О Жан-Жаке Руссо».¹⁰ Остерегаясь цензуры, Карамзин кратко, но выразительно характеризовал их как «важнейшие произведения французской литературы в прошедшем году».

Рецензии о парижских спектаклях переносили русского читателя в идейную атмосферу города, в котором бурно протекали события революции. Подробно рассматривается пьеса Монвеля «Заключенные в монастырь жертвы», рассказывавшая о гнусных действиях монахов. Сообщалось, что «на италиянском театре играли „Тень графа Мирабо“. Один из вождей революции стал героем спектакля, в нем „сей славный оратор беседует с великими мужами древности“».

Пропаганда острополитических сочинений в годы, когда во Франция разворачивались бурные события, свидетельствует о глубоком внимании Карамзина к этим событиям. Важно и то, что он ни разу не осудил революцию на страницах своего журнала.

Карамзин не боялся касаться и русских дел. Прежде всего должно сказать о позиции молодого писателя в связи с политическими репрессиями, которые начала проводить Екатерина II: в 1790 г. был арестован Радищев за его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», которая была разрешена цензурой. В 1792 г. по ее указу арестовали Новикова. В этих обстоятельствах Карамзин и напечатал в «Московском журнале» стихотворение «К милости», в котором призывал императрицу не осуждать Новикова. В стихотворении Карамзин излагает свою

¹⁰ Обходя цензуру, Карамзин дает сокращенное заглавие книги; ее полное название: «О Ж.-Ж. Руссо, одном из главных писателей, подготовивших революцию».

концепцию самодержавного правления. Стихотворение построено как перечень условий, обеспечивающих спокойствие в стране и любовь к монарху: «Доколе гражданин довольный Без страха может засыпать», «Доколе всем даешь свободу И света не темнишь в умах; Пока доверенность к народу Видна во всех твоих делах...».

Публикация стихотворения в период русской реакции, в годы французской революции была, несомненно, смелым гражданским поступком. Карамзин это понимал. Знал, что надо проявить осторожность: чтобы стихотворение не было запрещено, он вынужден был снять два стиха – «Доколе права не забудешь, С которым человек рожден», заменив их другими: «Доколе пользоваться будешь Ты правом матери одной...».

4

Содержание «Московского журнала» за 1791 и 1792 гг. с наибольшей отчетливостью выявило основы мировоззрения Карамзина, как оно сложилось с начала его литературной деятельности до 1793 г. Убеждения Карамзина с юности формировались под влиянием философских и эстетических идей французского, немецкого и русского Просвещения. Просветители разбудили интерес к человеку как духовно богатой и неповторимой личности, чье нравственное достоинство не зависит от имущественного положения и сословной принадлежности. Идея личности стала центральной и в творчестве Карамзина, в его эстетической концепции.

«Человек велик духом своим, – говорил Карамзин. – Божество обитает в его сердце». История подтверждала его убеждение, что «род человеческий возвышается и хотя медленно, хотя неровными шагами, но всегда приближается к духовному совершенству». XVIII век в беспримерных масштабах продемонстрировал духовную мощь движения просветителей, показал преобразующую силу идей свободы и справедливости. Карамзин считал, что только Просвещение способно воспитать человека. «Просвещение есть палладиум благонравия», – писал Карамзин. Оно формирует добродетель. Науки и искусства нужны всем людям; как «золотое солнце сияет для всех на голубом своде и все живущие согреваются его лучами», так и просвещение – науки и искусства – нужны и целительны всем: «и властителю и невольнику».

Карамзин был свидетелем и участником всевропейского просветительского движения, и—помересилсвоих—как переводчик, автор и издатель журнала, он распространял идеи Просвещения и надеялся, что тем способствует делу нравственного воспитания соотечественников.

Социальные убеждения Карамзина были иными. Он не принял идеи социального равенства людей – центральной в просветительской идеологии. С юношеских лет до конца дней своих Карамзин оставался верен убеждению, что неравенство необходимо и неизбежно. В то же время Карамзин признает моральное равенство людей. На этой основе и складывалась в эту пору у писателя отвлеченная, исполненная мечтательности утопия о будущем братстве людей, о торжестве социального мира и счастья в обществе.

Важнейшей особенностью мировоззрения Карамзина конца 1780-х – начала 1790-х гг. является просветительский оптимизм, вера в скорое торжество «законов чистого разума». Наиболее отчетливо эти убеждения выражены в стихотворении «Песня мира», написанном в связи с заключением в декабре 1791 г. Ясского мира, положившего конец Русскотурецкой войне (1787–1791). Но содержание стихотворения и богаче, и шире прославления заключенного мира. Окончание войны явилось для Карамзина прекрасным поводом для поэтического раскрытия своего идеала человеческого общежития. Поэт сознательно подчеркивал общность своего идеала с идеалами просветителей о братстве всех людей и равенстве всех народов («Священный союз всемирного дружества»), о неприятии истребительных войн (идеи «вечного мира» Сен-Пьера и Ж.-Ж. Руссо). Выявление данной общности осуществлялось путем

использования стихотворения Шиллера «К радости» (1785), в котором были сфокусированы дорогие обоим поэтам идеи.

Карамзина у Шиллера привлекал сам характер трактовки абстрактно-утопической надежды на неминуемое торжество идей справедливости и воцарения в обществе мира и благоденствия, когда все люди будут братьями. Карамзин, следуя за Шиллером, утверждал, что в этом обществе «агнец тигра не боится и гуляет с ним в лугах» и потому

Миллионы, веселитесь.
Миллионы, обнимитесь.
Как объемлет брата брат!
Лобызайтесь все стократ!

Эти стихи – довольно точный перевод Шиллеровых. Но, опираясь на Шиллера, Карамзин самостоятельно детализирует свое представление о желаемом будущем: «Цепь составьте миллионы, дети одного отца! Вам даны одни законы, вам даны одни сердца!» В этих стихах просветительский идеализм сказался со всей откровенностью – будущее завоевывается воспитанием. Смысл воспитания – в возвращении человека к вечным законам природы, согласно которым все люди братья. Пожалуй, нигде раньше Карамзин не высказывался с такой определенностью, что спасение человечества достигается воспитанием людей. Эта мысль подчеркнута в многократно повторенном рефрене:

Век Астреин, оживи!
С целым миром вы в любви!

Век Астреи, согласно греческой мифологии, – золотой век справедливого общественного устройства. Астрея – богиня справедливости. Такого мотива у Шиллера нет. Для Карамзина эпохи издания «Московского журнала» (1792 г., то есть третий год французской революции) все еще характерна вера в неминуемое торжество идей Просвещения, в возрождение века Астреи.

Идеи, выраженные в «Песне мира», были настолько программно важны для Карамзина, что через несколько месяцев он решил еще раз напомнить читателям журнала о своем идеале. Так была напечатана небольшая статья «Из записок одного молодого россиянина». Записки состоят из одиннадцати миниатюрных фрагментов, посвященных вопросам счастья, воспитания людей, бессмертия души и братства людей. Последней темой и завершаются этюды.

Религиозно-нравственное учение о братстве людей слилось у Карамзина с абстрактно понятыми представлениями просветителей о счастье свободного человека. Рисуя наивные картины возможного «блаженства» «братьев», писатель все же не теряет чувства реальности и потому настойчиво повторяет, что все это «мечта воображения». Подобное мечтательное свободолобие противостояло воззрениям русских просветителей, которые самоотверженно боролись за осуществление своих идеалов, противостояло революционным убеждениям Радищева. Но в условиях екатерининской реакции 1790-х гг. эти прекраснотушные мечтания и постоянно высказываемая вера в благодетельность просвещения для всех сословий отделяли Карамзина от лагеря реакции, определяли его общественную независимость. Эта независимость прежде всего проявлялась в отношении к французской революции. Естественно, Карамзин не мог приветствовать революцию – он по-просветительски отвергал насильственное изменение общественного устройства. Но он не спешил и с ее осуждением, предпочитая внимательно наблюдать за событиями, стремясь понять их действительный смысл.

5

Эстетические воззрения Карамзина получили свое теоретическое (в статьях и рецензиях) и образно-творческое воплощение в стихах и прозаических произведениях, напечатанных в «Московском журнале». Было ясно, что в русскую литературу пришел талантливый писатель-сентименталист, творчески близкий прославленным авторам века – Руссо и Стерну, – но сохранивший самобытность русского художника.

Сентиментализм, передовое, вдохновленное просветительской идеологией искусство, утверждался и побеждал в Англии, Франции и Германии во второй половине XVIII в. Просвещение как идеология, выражающая не только буржуазные интересы и идеалы, но в конечном счете отстаивающая интересы широких народных масс, принесло новый взгляд на человека и обстоятельства его жизни, на место личности в обществе. Сентиментализм, превознося человека, сосредоточивал главное внимание на изображении душевных движений, раскрывал мир нравственной жизни. Это не значит, что писателей-сентименталистов не интересует внешний мир, что они не видят зависимости человека от нравов и обычаев общества, в котором он живет. Просветительская идеология открыла новому направлению не только идею личности, но и зависимость ее от обстоятельств.

Человек сентиментализма, противопоставляя имущественному богатству богатство индивидуальности и внутреннего мира, богатству кармана – богатство чувства, был в то же время лишен боевого духа. Это связано с двойственностью идеологии Просвещения. Просветители, выдвигая революционные идеи, борясь с феодализмом, оставались сторонниками мирных реформ. В этом проявилась буржуазная ограниченность западного Просвещения: герой европейского сентиментализма – не просто свободный человек и духовно богатая личность, но это еще и частный человек, бегущий из враждебного ему мира, не желающий бороться за свою действительную свободу в обществе, пребывающий в своем уединении и наслаждающийся своим неповторимым «я».

Русским просветителям была близка и дорога философия свободного человека, созданная французским Просвещением. Но в своем учении о человеке они были оригинальны и самобытны, выразив те черты идеала, которые складывались на основе живой исторической деятельности русского народа.

Герой фонвизинского «Недоросля» Стародум, выражая суть своего нравственного кодекса, говорит: «Я друг честных людей». Путешественник Радищева во вступлении к книге «Путешествие из Петербурга в Москву» пишет о себе: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Вот эта способность «уязвляться» страданиями человечества, активно действовать на благо людей и отечества и была объявлена русскими писателями-просветителями основой нравственного кодекса личности.

Карамзин в 1790-е гг. становится вождем русских сентименталистов. Вокруг его изданий (начиная с «Московского журнала») объединялись его литературные друзья – старые и молодые, ученики и последователи. После многолетней плодотворной деятельности французских и русских писателей-просветителей, после художественных открытий, изменивших облик искусства, с одной стороны, и после французской революции – с другой, нельзя было писать, не опираясь на опыт передовой литературы, не учитывать и не продолжать, в частности, традиций сентиментализма Стерна и Руссо. Но при этом следует помнить, что Карамзину европейский сентиментализм был ближе, чем художественный опыт русских просветителей. (Не случайно, например, он замолчал Фонвизина, этого, по выражению Пушкина, «друга свободы».)

В конкретно-исторических условиях русской жизни 1790-х гг., в пору, когда время требовало от литературы глубокого раскрытия внутреннего мира личности, понимания «языка сердца», умения говорить на этом языке, деятельность Карамзина-художника оказала серьез-

ное и глубокое влияние на развитие русской литературы. Как политический консерватизм ни ослаблял общественное воздействие художественного метода нового искусства, все же Карамзин и некоторые талантливые его последователи обновили литературу, принесли новые темы, создали новые жанры, выработали особый слог, реформировали литературный язык.

Несомненно, выяснению особенностей художественной системы сентиментализма Карамзина помогает его типологическое изучение в рамках западноевропейской литературы XVIII в. Но при таком изучении не должно игнорировать национального своеобразия литературного процесса разных стран, в противном случае оно приведет к созданию некоей абстрактной модели общеевропейского сентиментализма. Именно такое положение и сложилось в нашей науке, выдвинувшей две модели сентиментализма – стерновского и руссоистского типа. Задача конкретно-исторического рассмотрения творчества Карамзина оказалась подмененной установлением сходства со стерновской моделью.

Сентиментализм Карамзина, типологически связанный с общеевропейским литературным направлением, – во многом совершенно новое явление. Не только национальные условия жизни, но и время определяло это различие. Сентиментализм на Западе формировался в пору подъема и *наивысшего* расцвета Просвещения, философия которого питала эстетические идеалы нового направления. Сентиментализм Карамзина, также обусловленный Просвещением, сложился окончательно в художественную систему в годы *проверки теорий просветителей практикой французской революции*, в эпоху начавшейся драмы передовых идей и обнаружившейся катастрофичности бытия человека нового времени. Революция показала, что обещанное просветителями «царство разума», справедливости и свободы не наступило. Начиналась эпоха разочарования в идеалах Просвещения, факелы свободы и надежды гасли – оттого-то современная жизнь и казалась трагически-безысходной. Все это определило особый, национально неповторимый облик сентиментализма Карамзина.

Сентиментализм Карамзина типологически связан с европейским сентиментализмом, но исторически является его новым этапом.

Критические работы Карамзина в «Московском журнале» расчищали дорогу новому направлению. Рецензий на русские книги в журнале мало. Но характерно, что, оценивая произведения своего времени, Карамзин прежде всего отмечает как их существенный недостаток отсутствие точности в изображении поведения героев, обстоятельств их жизни.

Разбирая перевод романа Ричардсона «Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов», Карамзин подчеркивал – его главное достоинство «в описании обыкновенных сцен жизни», автора отличает «отменное искусство в описании подробностей и характеров».

С наибольшей откровенностью свое отношение к нормативной поэтике классицизма Карамзин высказал в рецензии на трагедию Корнеля «Сид». Признавая поэтические достоинства трагедии, рецензент решительно не принимает эстетического кодекса Корнеля, отдавая предпочтение Шекспиру в прошлом, Лессингу – в настоящем.

Уже говорилось, что в 1788 г. вышла из печати трагедия Лессинга «Эмилия Галотти» в переводе Карамзина. Через четыре года он выступил с большой статьей, посвященной постановке трагедии на русской сцене. «Эмилия Галотти» привлекла критика тем, как драматург, раскрывая интимную жизнь своих героев, показал, что человек не может отделиться от общества, от социальных и политических обстоятельств, его окружающих, что счастье человека часто зависит от внешних причин, от законов, от действия монарха. Анализируя трагедию, Карамзин пишет, что упования ее героя Одоардо на справедливость монарха иллюзорно: «Какие же средства оставались ему спасти ее (дочь свою Эмилию. – Г. М.)? К законам прибегнуть там, где законы говорили устами того, на кого бы ему просить надлежало?» Ценив Лессинга за глубокое «знание сердца человеческого», Карамзин подводит читателя к мысли о праве личности на сопротивление, правда, на пассивное, но все же сопротивление тирану и вообще всякому, кто «другого человека приневолить хочет». С одобрением критик приводит

слова Одоардо: «Кажется, что я уже слышу тирана, идущего похитить у меня дочь мою. Нет, нет! Он не похитит, не обесчестит ее!» Спасаясь от насилия тирана, Одоардо закаляет свою дочь. Именно за это хвалит Карамзин трагедию, считая ее «венцом Лессинговых драматических творений».

К критическим работам Карамзина в «Московском журнале» примыкают и две статьи, написанные им зимой и весной 1793 г.: «Что нужно автору?» и «Нечто о науках, искусствах и просвещении». Статья «Нечто о науках...» – это гимн человеку, его успехам в искусствах, науках и просвещении. Карамзин глубоко убежден, что человечество идет по пути прогресса, что именно XVIII в. благодаря деятельности великих просветителей – ученых, философов и писателей – приблизил людей к истине. Заблуждения бывают, но они, как «чуждые наросты, рано или поздно исчезнут», ибо человек обязательно придет «к приятной богине-истине». Усвоив просветительскую философию своего времени, Карамзин считает, что «просвещение есть палладиум благонравия». Просвещение благотельно для людей всех состояний.

6

Публикация Карамзиным своих повестей явилась крупным событием литературной жизни последнего десятилетия XVIII в. Глубоко лирические по стилю, они открывали поэзию душевной жизни обыкновенных людей, запечатлев тонкие переживания героев, сложность и противоречивость их чувств. Действие в повестях развивается стремительно, но не сюжет увлекает читателя, а психологический драматизм рассказа, обнажение «тайное тайных» душевного мира личности, «жизнь сердца» героев и самого автора, который доверительно беседовал с читателем, делясь с ним думами, не скрывая своих чувств и своего отношения к героям.

Все в повестях было ново для читателя, но это новое, неожиданное не оттолкнуло его, потому что было высказано вовремя. Читатель уже знал – в оригинале или в переводах – многие произведения европейского сентиментализма. Стерн и Руссо, Гёте и Ричардсон и многие другие английские, французские и немецкие писатели сосредоточили свое внимание на психологическом анализе личности: раскрывая духовное богатство человека, они учили ценить его за сложность переживаний, реабилитировали его страсти.

Романы этих писателей были известны в России до Карамзина, а сам Карамзин был их восторженным почитателем. Теперь читатель обрел в Карамзине русского писателя, который писал о русской жизни, о русских людях, писал современным языком, наделенным способностью передавать «невыразимое» состояние души, глубоко эмоциональный пафос жизни человека.

Оттого читатель горячо, с небывалым энтузиазмом принял повести молодого писателя. Такого успеха, такой популярности не получало еще ни одно произведение русской литературы. Славу писателю принесла повесть «Бедная Лиза» (1792). Повести Карамзина пользовались успехом и в первом десятилетии XIX в.

Оценивая достижения Карамзина в развитии русской прозы, Белинский писал: «Карамзин первый на Руси начал писать повести, которые заинтересовали общество... повести, в которых действовали люди, изображалась жизнь сердца и страстей посреди обыкновенного повседневного быта». Справедливо указал критик и на их слабость: в них нет «творческого воспроизведения действительности», но изображается лишь нравственный мир его современников, «как в зеркале, верно отражается жизнь сердца... как она существовала для людей того времени». Итоговая оценка критика звучала суровым приговором: повести Карамзина сохранили только «интерес исторический».¹¹

¹¹ Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т., т. 6. М., 1981, с. 104.

Время и обстоятельства литературной борьбы за реалистическое искусство определили такой приговор критика. Повести Карамзина принадлежат к лучшим художественным достижениям русского сентиментализма. Они сыграли значительную роль в развитии русской литературы своего времени. Интерес исторический они действительно сохранили надолго. Но только ли исторический?

Канули в вечность увлечения, вкусы, представления дворянского читателя конца XVIII в., любившего повести Карамзина. Давно забыты литературные споры, которые они вызывали, «преданьем старины глубокой» звучат мемуарные свидетельства о шумном успехе «Бедной Лизы» – девушки-поклонницы, такие же несчастные, как Лиза, топились в том же пруду у Симонова монастыря.

Современный читатель свободен от прежних традиций. Что же откроется ему в наивном и старомодном, подчеркнуто эмоциональном рассказе о нравственной жизни русских людей прошлого, что скажут повести его уму и сердцу, что привлечет его внимание и, главное, привлечет ли, когда он будет сегодня читать повести Карамзина?

Чувствительность – так на языке конца XVIII в. определяли главное достоинство повестей Карамзина. Писатель учил сострадать людям, обнаруживал в «изгибах сердца» «нежнейшие чувства», погружал читателя в напряженную эмоциональную атмосферу «нежных страстей». «Чувствительным», «нежным» и называли Карамзина.

Трагизм жизни человека – вот что прежде всего обнаружит современный читатель в повестях Карамзина, вот что привлечет его внимание.

Повести «Бедная Лиза» и «Остров Борнгольм» посвящены традиционной любовной теме, истории двух любящих существ. Но при решении этой темы Карамзин разрушил каноны любовной повести. Его герои ищут счастья в любви, но, странное дело, чувства их лишены камерности, они живут даже не в привычных домашних условиях, а в большом и жестоком мире, оказавшись втянутыми в какой-то непостижимый для них конфликт с действительностью. Бесчеловечный, фатальный закон этой жизни лишает их счастья, делает жертвами, обрекает на гибель или постоянные страдания. Герои Карамзина – словно люди, потерпевшие кораблекрушение, выброшенные на суровый и дикий берег, одинокие на безлюдной земле.

С еще большей обнаженностью, чем в «Бедной Лизе», этот фатальный закон, обрекающий человека на страдание и гибель, раскрыт в повестях «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена». «Остров Борнгольм» – одна из лучших повестей Карамзина, она написана в стиле раннего романтизма,¹² – отсюда таинственность места действия: заброшенный в море остров с экзотическим названием, средневековый замок, подземелье, где томится за неизвестную вину молодая женщина, недосказанность в развитии сюжета, намеки повествователя как стилистический принцип рассказа.

В чем же суть того фатального закона, который управляет судьбами героев повестей Карамзина? Герой повести «Остров Борнгольм» – несчастный юноша, насильственно разлученный со своей возлюбленной, поет печальную песню, в которой рассказывает историю своей любви к Лиле. В ней откровеннее всего говорится о трагическом противоречии между законами природы и законами иными – бесчеловечными, неумолимо действующими в обществе. Юноша пытается отстоять свое право на счастье, ссылаясь на природу: «Природа! Ты хотела, чтоб Лилу я любил!» Но «законы», люди осуждают их страсть, объявляют ее преступной.

Что же это за «власть», которая «сильнее» любви? Какие законы могущественнее велений природы? Кто создает эти законы и управляет, следуя им? Карамзин не отвечает на эти вопросы, отказывается дать оценку этим законам – он лишь констатирует их неодолимое действие.

¹² См.: Вацуру В. Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм». – В кн.: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века. Л., 1969.

Сюжетно «Бедная Лиза» оказывалась близкой любовному романсу. Вывод Карамзина: «и крестьянки любить умеют» – был обобщением этического кодекса песни. Но оптимизм песни был ему чужд. Он показывает гибель Лизы, отказываясь от исследования причин ее несчастья, уходя от вопроса, кто виноват. Страдание есть – виновных нет, констатирует писатель. «Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцей». Скоро горящий Эраст умирает.

Но Карамзин-художник не мог не видеть реальных контуров того закона, который погубил его героев. И как ни убегал он от реальной действительности с ее социальными противоречиями, она вторгалась в повесть. В момент зарождения любви к Эрасту Лиза признается: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином...»

Понимание, что социальное неравенство (дворянин не мог жениться на крестьянке) погубит любовь, не помогло преодолеть влечение сердца – Лиза полюбила и тем обрекла себя на гибель. В минуту искренности и сердечных признаний Эраст обещал Лизе никогда не расставаться с нею. Трепеща, Лиза говорит ему: «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем... Я крестьянка». Охваченный страстью Эраст уверяет, что закон неравенства не властен над ним: «Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, – и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».

Предчувствие не обмануло Лизу – Эраст бросил ее, ту, которую любил, и женился без любви, но на равне, дворянке, «пожилой богатой вдове». И читатель не может не понять, что причиной несчастий героев является не отвлеченный моральный закон, а закон, созданный людьми, закон социального неравенства.

7

В конце 1792 г. было завершено издание «Московского журнала». Карамзин с воодушевлением отдался новым планам и замыслам. Он готовил издание альманаха «Аглая», писал повести, стихи, работал над продолжением «Писем русского путешественника». И в это время неожиданные политические события породили идейный кризис, который стал рубежом творческой жизни писателя.

Случилось это летом 1793 г. В июле Карамзин уехал в орловское имение на отдых. В августе новые известия о французских событиях смутили душу писателя. В письме к Дмитрию он сообщал: «...ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою». С горечью и болью думал он «о разрушаемых городах и гибели людей». Тогда же написанный очерк «Афинская жизнь» оканчивался автобиографическим признанием: «Я сижу один в сельском кабинете своем, в худом шлафроке, и не вижу перед собою ничего, кроме догорающей свечи, измаранного листа бумаги и гамбургских газет, которые... известят меня об ужасном безумстве наших просвещенных современников».

Что же произошло во Франции? Борьба правых депутатов конвента (жирондистов), выражавших интересы буржуазии, испугавшейся размаха народной революции, и якобинцев, представителей истинно демократических сил страны, достигла апогея. Весной в Лионе вспыхнул поднятый контрреволюционерами мятеж. Его поддержали жирондисты. Началось грандиозное восстание против революции в Вандее. Спасая революцию, опираясь на восстание парижских секций (31 мая – 2 июня), якобинцы во главе с Робеспьером, Маратом и Дантоном установили диктатуру. Вот эти события, развернувшиеся в июне – июле 1793 г., о которых Карамзин узнал в августе, и повергли его в смятение, испугали, оттолкнули от революции. Рухнула прежняя система взглядов, закралось сомнение в возможности человечества достичь счастья и благоденствия, стала складываться система откровенно консервативных убеждений. Выражением этого смятенного сознания Карамзина и крушения прежних просветительских идеалов, мучивших противоречий стали статьи-письма «Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору».

Мелодор и Филалет – это не разные люди, это «голоса души» самого Карамзина, это смущенный и растерянный Карамзин старый и Карамзин новый, ищущий иных, отличных от прежних, идеалов жизни, стремящийся найти выход из событий, потрясших всю Европу.

Крушение веры в гуманистические идеалы Просвещения было трагедией Карамзина. Герцен, остро переживавший свою духовную драму после подавления французской революции 1848 г., называл эти выстраданные признания Карамзина «огненными и полными слез». В той же статье и в связи с Карамзиным Герцен так определил важнейшую особенность русских людей и русских писателей в первую очередь – их отзывчивость к общечеловеческим делам и судьбам: «...Странная судьба русских – видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение...»¹³

Мелодору, разочаровавшемуся в веке Просвещения, отвечает Филалет. Он тяжело переживает события французской революции, но не теряет оптимизма и продолжает верить в поступательный ход истории, верит в прогресс, верит в человека, в доброе начало человеческой природы.

Противоречия мировоззрения Карамзина, запечатленные в драматическом диалоге Мелодора и Филалета, не были решены ни в конце 1793 г., ни в следующие два года. Оттого с осени 1793 г. начинается новый период творчества Карамзина – разочарование в идеологии Просвещения, неверие в возможность освободить людей от пороков, поскольку страсти неистребимы, убеждение, что следует жить вдали от общества, от исполненной зла жизни, находя счастье в наслаждении самим собой.

В центре творчества стала теперь личность автора; автобиографизм находит выражение в раскрытии внутреннего мира тоскующей души человека, бегущего от общественной жизни, пытающегося найти успокоение в эгоистическом счастье. С наибольшей полнотой новые взгляды выразились в поэзии.

Если в первый период (конец 1780-х – начало 1790-х гг.) поэзия Карамзина была исполнена просветительского оптимизма и веры в общественные связи человека, в его интерес к объективному, реальному миру, то в годы мировоззренческого кризиса позицию Карамзина-поэта определял субъективизм.

Манифестом Карамзина начального периода творчества явилось стихотворение «Поэзия», написанное еще в 1787 г., но полностью напечатанное в «Московском журнале». Там же были напечатаны политические и гражданственно-патриотические стихотворения – «К милости», «Военная песнь». Следуя за патриотическими одами Державина, Карамзин обращается с призывом к «россам», «в чьих жилах льется кровь героев»: «Туда спеши, о сын России! Разить бесчисленных врагов».

Когда формировалось дарование Карамзина (1780-е гг.), самым крупным и ярким поэтом был Державин, теснейшими узами связанный со своим временем. Поэзия Державина именно своим настойчивым интересом к человеку была близка Карамзину. Только герой большинства карамзинских стихов жил тише, скромнее, он лишен был гражданской активности державинских героев. Карамзин не способен был гневно возмущаться, грозно напоминать «властителям и судиям» об их высоком долге перед своими подданными, громко и шумно радоваться. Он как бы прислушивается к тому, что происходит в его сердце, улавливает никому не ведомую, но по-своему большую жизнь. Общий тон стихотворений этих лет светлый, не замутненный страхом, мистикой, отчаянием. «Да светлеет сердце наше, да сияет в нем покой», – провозглашает поэт.

Вера в жизнь, несмотря на все страдания и скорби, которые обрушиваются на человека, дух оптимизма пронизывают и замечательную балладу «Граф Гвариног».

Разочарование в возможности перестроить общественную жизнь на основе разумных просветительских идеалов обусловило новый характер лирики Карамзина. В 1794 г. он напи-

¹³ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 6. М., 1955, с. 12, 10.

сал два дружеских послания – И. И. Дмитриеву и А. Плещееву, в которых с публицистической остротой изложил новые, глубоко пессимистические воззрения на проблемы общественного развития. Некогда он «мечтами обольщался», «любил с горячностью людей», «желал добра им всей душой». Но последние события во Франции показали, как безумны были мечтания философов. «И вижу ясно, что с Платоном республик нам не учредить».

Погрузив человека в мир чувств, поэт заставляет его жить только жизнью сердца, поскольку счастье только в любви, дружбе и наслаждениях природой. Так появились стихотворения, раскрывающие внутренний мир замкнутой в себе личности («К самому себе», «К бедному поэту», «Соловей», «К неверной», «К верной» и др.). Поэт проповедует философию «мучительной радости», называет сладостным чувством меланхолию, которая есть «нежнейший перелив от скорби и тоски к утехам наслаждения». Гимном этому чувству явилось стихотворение «Меланхолия».

В стихотворении «Соловей» Карамзин, может быть впервые с такой смелостью и решительностью, противопоставил миру реальному мир, творимый воображением человека. Поэтому долг поэта – «вымышлять», и истинный поэт – «это искусный лжец». Он признавался: «Мой друг! сущность бедна: играй в душе своей мечтами». Подготовленный сборник своих произведений Карамзин называет «Мои безделки» (1794); он демонстративно декларирует свое намерение писать для женщин, быть приятным «красавицам» («Послание к женщинам»).

Создавая новую лирику, Карамзин обновил русскую поэзию. Он внес новые жанры, которые в последующем мы встретим у Жуковского, Батюшкова и Пушкина-лицеиста: балладу, дружеское послание, поэтические «мелочи», остроумные безделушки, мадригалы и т. д. Недовольный, как и некоторые другие поэты (например, А. Радищев), засильем ямба, он использует хорей, широко вводит безрифменный стих, пишет трехсложными размерами. В элегической, любовной лирике Карамзиным был создан особый поэтический язык – для раскрытия жизни сердца. Фразеология Карамзина, его образы, поэтические словосочетания (типа: «люблю – умру любя», «слава – звук пустой», «голос сердца сердцу внят», «любовь питается слезами, от горести растет», «дружба – дар бесценный», «беспечной юности утеха», «зима печали», «сладкая власть сердца» и т. д.) были усвоены последующими поколениями поэтов, их можно встретить и в ранней лирике Пушкина.

Значение Карамзина-поэта отчетливо и лаконично определено П. А. Вяземским: «С ним родилась у нас поэзия чувства, любви к природе, нежных отливов мысли и впечатлений, словом сказать, поэзия внутренняя, душевная... Если в Карамзине можно заметить некоторый недостаток в блестящих свойствах счастливого стихотворца, то он имел чувство и сознание новых поэтических форм».

Бегство Карамзина от насущных вопросов общественнополитической жизни тяготило писателя. Но годы кризиса были и годами исканий. Вне учета этого обстоятельства нельзя понять истинный смысл творчества конца 1790-х гг. Традиционно одностороннее и в конечном счете субъективистское толкование произведений Карамзина этих лет не позволяет понять драматизм не только кризиса мировоззрения писателя, но и настойчивых поисков выхода из создавшегося положения. Причем поиски эти обуславливались временем, и открытия, сделанные в конце концов Карамзиным, были достижением не только личности писателя, но и русской исторической мысли конца XVIII в.

Главным произведением 1790-х гг., несомненно, были «Письма русского путешественника». Они должны были составлять ядро задуманного писателем «Московского журнала». В объявлении об его издании читателям были обещаны «записки» путешественника. Обещание

издатель выполнил – с первого же номера нового журнала (1791) он публиковал «Письма». Судя по объявлению в «Московских ведомостях», «Письма», видимо, должны были быть полностью опубликованы в журнале.

Но европейские политические обстоятельства, идейный кризис Карамзина, а также активизация в России сил реакции помешали закончить «Письма» в намеченный срок. Работа над ними несколько раз прерывалась и вновь возобновлялась.

Только в 1801 г. «Письма» вышли в завершённом виде отдельной книгой. Время и обстоятельства наложили свою печать на характер повествования, на оценки событий. Особенно это сказалось на тексте последних двух частей, многие страницы которых были посвящены событиям французской революции.

Просветительство обусловило оптимистический характер убеждений Карамзина. С этой верой молодой писатель и отправился в путешествие по странам Западной Европы. В пути он вел записи увиденного, услышанного, фиксировал свои впечатления, размышления, разговоры с писателями и философами, делал зарисовки беспрестанно менявшихся ландшафтов, отмечал для памяти то, что требовало подробного объяснения (сведения об истории посещаемых стран, общественном устройстве, искусстве народов и т. д.). Но поскольку своему сочинению Карамзин придал форму дорожных писем, адресованных друзьям, он имитировал их частный, так сказать практический, а не художественный характер, подчеркивал непосредственность записей своих впечатлений в пути. Оттого, начиная с первого письма, выдерживается этот тон: «Расстался я с вами, милые, расстался!»; «Вчера, любезнейшие мои, приехал я в Ригу» и т. д.

С той же целью было написано предисловие, в котором читатель предупреждался, что в своих письмах путешественник «сказывал друзьям своим, что ему приключилось, что он видел, слышал, чувствовал, думал, – и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом». Рекомендую свое произведение как собрание бытовых писем путешественника друзьям, Карамзин стремился сосредоточить внимание читателя на их документальности. «Письма» представляли как исповедальный дневник русского человека, попавшего в огромный, неизвестный им мир духовной и общественной жизни европейских стран, в круговорот европейских событий.

В действительности «Письма» писались в Москве на протяжении многих лет.¹⁴

На избрание жанра оказала влияние уже сложившаяся в европейской литературе традиция. Структуру жанра «путешествия» отличает динамизм, ей чужда нормативность. В Англии первой половины XVIII в. были созданы различные «путешествия» (Дефо, Свифт, Смоллет), которые объединяла общность авторской позиции – писатели стремились точно изображать увиденное, реальную действительность, общественную жизнь с ее противоречиями, чтобы не только осуждать ее бесчеловечность, но и открыть в ней, в живой жизни, источник будущего ее обновления.

Лоренс Стерн, используя уже сложившуюся традицию, относится к ней полемически, решительно преобразует структуру жанра и создает новый тип его – «Сентиментальное путешествие» (1768). Писателя интересует не реальный мир, в котором находится его герой, путешественник Йорик, но его отношение к увиденному, не реальные факты, а субъективное отношение к ним путешественника. Жанр путешествия Стерн подчиняет задаче обнаружения сложной, постоянно изменчивой, противоречивой духовной жизни человека. Сентиментальное путешествие оказалось путешествием в тайный, от всех скрытый, неисчерпаемо богатый нравственный мир личности.

Стерн – скептик, уже увидевший у себя на родине крушение возрожденческих и просветительских идеалов и учений. На оселке беспощадной иронии проверяет он «прочность» идеалов, нравственных норм, традиционных верований и убеждений. Психологизм оказы-

¹⁴ См.: Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника».

вался высокоэффективным методом раскрытия противоречивости сознания Йорика, лишённого пиетета перед высокими обязанностями человека, бравирующего своим правом все брать под сомнение, над всем в меру издеваться, в меру горько смеяться...

Достерновская традиция английского «путешествия» продолжена была современником Карамзина – французским писателем Дюпати, издавшим в 1785 г. «Путешествие в Италию». В книге читатель находил массу интересных и полезных сведений о гражданских учреждениях городов Италии и образе жизни населения, о музеях и храмах, дворцах и библиотеках, о картинах и особенностях итальянского языка и т. д. Автор в описаниях точен, его интересуют факты, реальная жизнь, он стремится вооружить читателя знаниями.

Карамзин читал и высоко оценивал и «Сентиментальное путешествие» Стерна, и «Путешествие в Италию» Дюпати. Он учитывал их достижения, овладевал опытом использования жанра «путешествия» для своих целей. Оттого его «Письма русского путешественника» оригинальное сочинение – оно рождено на русской почве, определено потребностями русской жизни, оно решало задачи, вставшие перед русской литературой.

С петровского времени перед обществом остро и на каждом историческом этапе злободневно стоял вопрос о взаимоотношении России и Запада. Вопрос этот решался и на государственном, и на экономическом и идеологическом уровнях. Из года в год росло число переводов книг из статей по разным отраслям знаний с различных европейских языков. Опыт Запада – политический, общественный, культурный – все время осваивался и учитывался, при этом осваивался и учитывался и примитивно, подражательно, и критически, самостоятельно.

И все же о Западе русские люди знали очень мало. Запад о России знал и того меньше. Карамзин хорошо понимал сложившееся положение и осознавал свой долг писателя преодолеть это взаимное незнание. Он писал: «Наши соотечественники давно путешествуют по чужим странам, но до сих пор никто из них не делал этого с пером в руке». Карамзин и принял на себя ответственность путешествовать «с пером в руке». Его «Письма» открывали Запад широкому русскому читателю и знакомили Запад с Россией. Это своеобразная энциклопедия, запечатлевшая жизнь Запада накануне и во время величайшего события конца XVIII в. – Великой французской революции.

Читатель узнавал о политическом устройстве, социальных условиях, государственных учреждениях Германии, Швейцарии, Франции и Англии. Ему сообщались результаты изучения истории больших городов Европы и особенно подробно излагались собственные впечатления о Лейпциге и Берлине, Париже и Лондоне. При этом история городов раскрывалась часто через материальные памятники культуры – музеи, дворцы, соборы и библиотеки, университеты; история стран оказывалась запечатленной в литературе, науке, искусстве.

Бесконечно богат круг интересов русского путешественника: он посещает лекции знаменитых профессоров Лейпцигского университета и участвует в народных уличных гуляниях, дни проводит в знаменитой Дрезденской галерее, внимательно изучая картины великих европейских художников, и заглядывает в кабачки, беседует с их завсегдатаями, знакомится с купцами и офицерами, учеными и писателями, серьезно исследует жизнь крестьян в Швейцарии, стремясь понять, что определяет их благополучие, их процветание.

Но русский путешественник не только наблюдает и записывает подробности увиденного и услышанного – он обобщает, высказывает свое мнение, делится с читателем своими мыслями, своими сомнениями. Он отмечает вредное влияние полицейской государственности Германии на свободу и жизнь нации, с глубоким уважением относится к немецким философам, чьи идеи и учения получили широкое распространение в Европе (Кант, Гердер). Путешественник подчеркивает, что именно конституционный строй Швейцарии и Англии является основой благополучия этих наций. При этом он с особой симпатией относится к Швейцарской республике. В ее государственном и социальном устройстве он видит воплощение социального идеала Руссо. Ему кажется, что в этой маленькой республике просвещение нации дало благие

результаты – под его воздействием все люди стали добродетельными. Тем самым утверждалась мысль, что не революция, а просвещение нужно народам для их благополучия.

Все сообщенное русским путешественником – и наблюдения, и факты, и размышления – заставляло русского читателя сопоставлять с известными ему порядками, образом жизни у себя на родине, сопоставлять и думать о русских делах, о судьбе своего отечества.

Особое место в «Письмах русского путешественника» занимает Франция. На страницах, посвященных этой стране, также рассказывалось о жизни разных слоев населения Франции, об истории Парижа, описывался облик столицы – ее дворцы, театры, памятники, знаменитые люди...

Но, конечно, главным во Франции было грандиозное событие, проходившее на глазах путешественника, – революция. Оно вызывало интерес и пугало, привлекало внимание и ужасало. Как писать о революции, Карамзин еще не знал. Но, с другой стороны, он понимал, что в русских условиях 1790-х гг., в пору екатерининских гонений и преследований всех передовых деятелей, писать о революции было и опасно, и безнадежно – цензура бы не пропустила... Оттого-то печатание «Писем» в «Московском журнале» было прекращено на известии о въезде путешественника в Париж... Свое мнение о французской революции писатель выскажет позже, когда определится его позиция.

Другой особенностью «Писем», соседствующей с информативностью, – была лирическая стихия «Писем русского путешественника». В них отразилось личное, эмоциональное отношение путешественника ко всему увиденному на Западе. Читатель узнавал, что радовало путешественника, что огорчало и печалило, что вызывало симпатии и что пугало и отталкивало. Это личное отношение запечатлелось в стиле – он иногда ироничен, иногда чувствителен, иногда строго деловит. Стиль раскрывал духовный мир путешественника.

Не только органическое слияние информативного и лирического начал обуславливает оригинальность «Писем русского путешественника», но прежде всего создание образа путешественника. В этом плане принципиально уже само заглавие произведения, каждое слово которого значимо и существенно важно для понимания жанра. «Письма» – это указание на традицию, которая сложилась в западной и русской литературе: письмо – это исповедь, признание, даже информация, но не справочного, не научного типа, это рассказ о пережитом конкретной личностью.

Второе слово заглавия существенно уточняло понимание и восприятие читателем данной личности – это русский, представитель русской культуры, посланец русской литературы в европейских странах.

Третье слово заглавия – путешественник – мотивирует и оправдывает место действия героя в произведении – европейские страны, его передвижение в пространстве, динамически меняющиеся впечатления.

Путешественник живет напряженной духовной жизнью, его волнуют встречи и события, он постоянно задумывается об узанном новом, ищет сам и заставляет своего читателя искать ответов на многие важные вопросы жизни. Читатель «Писем» видит и понимает проходящий у него на глазах процесс духовного развития русского Путешественника в пору великой европейской революции. Оттого драматизм переживаний и мысли – главная особенность образа Путешественника.

Оригинальность «Писем» до сих пор недостаточно раскрыта и показана. Чаще всего это произведение рассматривается в абстрактном ряду сентиментальных путешествий, не замечается и недооценивается объективный образ Путешественника. «Письма» рассматриваются как «зеркало души» самого Карамзина, как его своеобразный дневник.

Между тем Карамзин считал себя обязанным специально предупредить будущих читателей «Писем русского путешественника», что этим путешественником является не он сам, а его приятель, который во время странствования по Европе вел записки. В «Объявлении»

об издании «Московского журнала» Карамзин, сообщая его программу, в частности, писал: «Один приятель мой, который из любопытства путешествовал по разным землям Европы, – который внимание свое посвящал натуре и человеку, преимущественно пред всем прочим, и записывал то, что видел, слышал, чувствовал, думал и мечтал, – намерен записки свои предложить почтенной публике в моем журнале, надеясь, что в них найдется что-нибудь занимательное для читателей».¹⁵ Не считаться с этим предупреждением нельзя: Карамзину важно было, чтобы читатель воспринял его сочинение как реальный документ, принадлежащий конкретному человеку («приятелю» издателя журнала), содержание «записок» которого в письмах к семейству друзей своих объективно и может представлять интерес для других, быть «занимательным» для читателей журнала.

Более того: Карамзин при печатании «Писем» в журнале все время подчеркивал, что он публикует чужой текст. Особенно наглядно это проявлялось в «примечаниях издателя», которые документировали работу Карамзина с «Письмами» как с чужим текстом. В ряде случаев Карамзин делал примечания, оговаривая, что они принадлежат издателю. В тексте «Писем» употреблено слово «промышленность» («Везде знаки трудолюбия, промышленности, изобилия»). Карамзин-издатель делает примечание: «Не может ли сие слово означать латинского *industria* или французского *Industrie*?»¹⁶ Любопытно, что в позднейшем, отдельном издании «Писем» это примечание снято и заменено другим – идущим от автора-Карамзина: «Это слово сделалось ныне обыкновенным: автор употребил его первый».

Конечно, читатель и XVIII в., и современный знают, что путешествие совершил Карамзин, что он автор «Писем». Но нельзя забывать, что он создал художественное произведение и все в нем написанное, в том числе и образ Путешественника, должно воспринимать по законам художественного изображения и познания жизни.

Герой «Сентиментального путешествия» – Йорик, а не Стерн, хотя многое во взглядах Йорика близко и дорого Стерну. Путешественнику Карамзин много дал своего, в нем запечатлены многие черты личности самого автора, и все же образ Путешественника не адекватен Карамзину. Между Автором и Путешественником существует дистанция, порожденная искусством, Карамзин в «Письмах» един в двух ипостасях.

Следует учитывать и то, что эта «раздвоенность» порождалась не только художественной природой произведения, но и конкретной исторической ситуацией. Кризисное состояние мировоззрения Карамзина в 1794 г. и определило в конечном счете идейную позицию Путешественника, позволило писателю сформулировать свое отношение к революции вообще. «Переписка» Мелодора и Филалета является важным комментарием к «Письмам русского путешественника». Путешественник как бы соглашался с Филалетом, отрицавшим революционный путь к счастью человечества.

Путешественник, несомненно, выражал и точку зрения автора, что любые насильственные потрясения губительны для нации и народа. В данном случае Путешественник и Автор находят общий язык, поскольку исповедуют идеалы просветителей, утверждавших, что путь к справедливому общественному устройству лежит через просвещение, а не через революцию, через воспитание добродетельных граждан. Но за этим просветительским щитом стоит и убеждение дворянина. Автор – принципиальный противник революции, он не приемлет насильственного изменения существующего социального строя.

И все же позиция Карамзина и сложнее, и, главное, историчнее взгляда Путешественника. Потому-то писатель испытывал необходимость свободно высказаться, печатно изложить свое мнение не о якобинском этапе французской революции, но о революции вообще, о месте революции в движении народа по пути прогресса. Свое намерение он осуществил в 1797 г.,

¹⁵ Московские ведомости, 1790, № 89, 6 ноября.

¹⁶ Московский журнал, 1791, ч. 3, сентябрь, с. 298.

когда его понимание революции более или менее определилось, но не в русской печати, а за рубежом – в журнале «Spectateur du Nord» («Северный зритель»), выходившем на французском языке в Гамбурге. Карамзин опубликовал в «Зрителе» статью «Несколько слов о русской литературе», центральное место в которой занял своеобразный (скорректированный) пересказ «Писем русского путешественника». В этом пересказе и нашло свое выражение истинное мнение писателя, отсутствующее в русском издании «Писем».

Карамзинский подход к революции принципиально отличается от оценок Путешественника, который осуждает революцию. Карамзин пытается объяснить ее исторически. Путешественник убежден, что революция во Франции не является народной, что «нация» в ней «не участвует»: «едва ли сотая часть действует», и эти «действующие» – «бунтовщики», «дерзкие», которые «подняли секиру на священное дерево», говоря: «мы лучше сделаем». «Республиканцы с порочными сердцами» «готовят себе эшафот». Карамзин же утверждает, что французская революция является закономерным этапом исторического развития Франции.

И это не случайно. Именно в оценке французской революции, сформулированной свободно, без оглядки на царскую цензуру, сказалась самостоятельность Карамзина, а эта самостоятельность понимания великого европейского события была обусловлена историзмом мышления писателя. Вот почему необходимо остановиться на этой проблеме.

1770-е и 1780-е гг. ознаменовались важнейшими достижениями в понимании истории: началось формирование исторического мышления, человечество стало освобождаться от механистического взгляда на прошлое. Просветители решительно и бесповоротно ниспровергли господствовавшее несколько столетий теологическое объяснение истории и выдвинули идею прогресса. На этой-то основе и стал вырабатываться историзм – новая философия истории, утверждавшая идею развития, открывшая поступательный ход человечества по пути совершенствования, пытавшаяся понять закономерности этого развития, этого прогресса.

Выработка историзма, продолжавшаяся около полувека, захватила многие страны Европы – Англию, Францию, Германию. Оказалась втянутой в этот процесс и Россия.¹⁷ Пониманию закономерностей исторического развития способствовали и революции XVIII в. – американская, а позже французская. Книга Рейналя «Революция в Америке», «приобучавшая, – по словам одного современника, – народы размышлять о своих важнейших интересах», была важным звеном в становлении историзма; она сразу же была оценена и Радищевым, и Новиковым. Фундаментальный вклад в формирование историзма вносили труды крупного немецкого ученого, историка и филолога Гердера. В 1780-е годы с ними в России познакомились – сначала Радищев, а затем Карамзин. Еще до путешествия он прочел главные сочинения Гердера. Прибыв в Германию, Карамзин поспешил на свидание с Гердером. Личная беседа молодого русского писателя с прославленным европейским ученым, который вошел в историю науки под именем «отца историзма», помогла Карамзину усвоить новый взгляд на историю. Именно эти новые убеждения позволили ему лучше понять русскую историю и, главное, преодолеть отчаяние и скепсис, возникшие в 1793 г.

В статье «Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору» Филалет решительно опровергает скепсис друга, склонившегося под влиянием последних событий французской революции к пессимистической теории круговорота в истории итальянского мыслителя Вико. Вооруженный оптимистической философией истории Гердера, Карамзин заставляет Филалета опровергать концепцию Вико, выражать свои убеждения о том, что и после грозных событий французской революции действует объективный закон развития, закон совершенствования разума, культуры, государства: «веки служат разуму лестницею, по которой возвышается он к своему совершенству, иногда быстро, иногда медленно».

¹⁷ См. специально посвященный этой проблеме сборник статей: XVIII век. 13. Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII – начало XIX в. Л., 1981.

Идея развития, прогресса положена Карамзиным в основание оценки французской революции, данной в статье «Несколько слов о русской литературе». Революция, утверждал он, есть закономерный этап в историческом развитии Франции. «Итак, французская нация прошла все стадии цивилизации, чтобы достигнуть нынешнего состояния». Революция не есть бунт кучки «дерзких» и «хищных, как волки» республиканцев, как думает Путешественник, – она закономерное звено в цепи непрерывного развития нации. Оттого с революцией наступает новый этап в истории не только Франции, но и всего человечества. Карамзин писал: «Французская революция относится к таким явлениям, которые определяют судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха. Я это вижу, а Руссо предвидел».

Карамзин решительно выступает против бездумного отношения к величайшему событию современности, не соглашаясь с теми, кто ее восхваляет и кто спешит с ее осуждением. «Я слышу пышные речи за и против; но я не собираюсь подражать этим крикунам. Признаюсь, мои взгляды на сей предмет недостаточны зрелы. Одно событие сменяется другим, как волны в бурном море; а люди уже хотят рассматривать революцию как завершённую. Нет. Нет. Мы еще увидим множество поразительных явлений. Крайнее возбуждение умов говорит за то. Я опускаю занавес».

Подобное понимание французской революции наглядно и убедительно демонстрирует формировавшийся в эти годы просветительский историзм – его характер, уровень, способности познавать закономерности исторического развития.

Национальное своеобразие «Писем русского путешественника» проявляется прежде всего в историческом подходе автора к изображаемым событиям, в исторической оценке политики и культуры разных европейских стран, в принципе создания характера самого Путешественника. Произведения новой русской литературы XIX в. отличает именно историзм. Вот почему между ними и «Письмами» существует преемственная связь. Это отлично понимал Чернышевский: «Новая русская литература, – писал он, – началась „Письмами русского путешественника“».¹⁸

9

В последние пять лет XVIII столетия Карамзин с поразительной активностью, выступая как прозаик и поэт, как критик и переводчик, как организатор новых литературных изданий, объединявших молодых поэтов, оказывал огромное влияние не только на русскую литературу, но и на русское общество.

После издания в 1794–1795 гг. двух томов альманаха «Аглая» Карамзин, видимо неожиданно для многих, согласился участвовать в газете «Московские ведомости». В объявлении о подписке на газету на 1795 г. сообщалось, что «принял на себя труд обрабатывания» нового отдела «Смесь» «почтенный и любезный издатель „Московского журнала“».

В первом же номере «Московских ведомостей» Карамзин сообщил программу «Смеси». Она поражает своей энциклопедичностью: тут заметки по истории, философии и литературе – прошлых веков и современной («О новых английских и немецких книгах для любителей иностранных литератур»), интересные эпизоды из жизни великих философов и писателей, «примечания достойные мысли древних и новых философов, цветы разума и чувства», небольшие художественные пьесы и отрывки, подбор пословиц разных народов.

Большая часть опубликованных заметок – переводы, взятые из европейских газет, журналов и книг. Печатал Карамзин и собственные небольшие художественные этюды и серьезные статьи. В целом весь отдел, несомненно, отмечен печатью оригинальности. Личное начало проявляется и в отборе заметок и статей, и в стиле переводов (а чаще – пересказов, или, как

¹⁸ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. 4. М., 1948, с. 222.

говорили в XVIII в., «сокращений»), и в первую очередь, естественно, в собственных статьях и в тех примечаниях, которые он делал к некоторым переводам.

Весь обширный материал «Смеси» не только блистательно характеризует глубокую образованность Карамзина, но прежде всего аналитический ум писателя, его пытливую, ищущую мысль, самостоятельность суждений по проблемам философии, нравственности, истории и литературы. Русская мысль конца XVIII в. представлена здесь с завидной полнотой и ясностью.

В настоящей вступительной статье нет возможности подробно проанализировать весь обширный, идейно богатый материал «Смеси». Это предмет особого исследования. Оно необходимо тем более, что «Смесь» никогда не подвергалась специальному изучению. Обращу внимание на некоторые темы, важные для понимания позиции Карамзина в эти годы.

Об интересе писателя к Шиллеру. Карамзин и Шиллер решали важнейшие общественные и нравственные проблемы, встававшие перед человечеством после французской революции. Европейский масштаб идейных исканий и художественного творчества русского писателя при решении темы – Карамзин и Шиллер – предстает в своей исторической конкретности.

Искания Карамзина во всей сложности запечатлелись, в частности, в статье «Рассуждение философа, историка и гражданина». Она написана как диалог – излюбленная форма Карамзина. Избрание ее продиктовано стремлением не утверждать новые апофегмы (в мудрости истин, провозглашенных философами, он разочаровался), но выразить, запечатлеть ищущую, тревожную мысль. В диалоге сталкивались разные мнения: в их единоборстве, в тенденции утверждать правоту читатель найдет богатую пищу для размышлений, для собственных выводов. Карамзин не поучал, а приучал мыслить, задумываться над важнейшими вопросами общественной и исторической жизни, он приобщал читателя к собственным исканиям, убеждал его не доверяться скороспелым решениям, не спешить принимать модные концепции. Карамзин был уверен, что искомый ответ не может быть однозначным, в нем должна запечатлеться реальная сложность современной жизни и современной мысли.

В беседе три участника. Позиция каждого индивидуальна, в ней есть своя правда – к ней и призывает Карамзин прислушаться. Поражает объективность подхода писателя к разным точкам зрения.

Убеждения философа умозрительны. Субъективные выводы предлагаются человечеству как своеобразные рецепты, призванные его осчастливить. Историк отвергает суждения философа: «Гордые мудрецы! вы хотите в самом себе найти путь к истине? Нет, нет! не там его искать должно!» В то же время в воззрениях философа есть мудрость – он высоко ценит разум, верит в его способность помогать человеку находить пути к счастью.

Убеждения историка принципиально противостоят взглядам философа. И это не случайно – они выражают новый этап развития человеческой мысли. До французской революции общественное мнение и программу общественных преобразований определяли философы, мыслители, чьи воззрения и выразили идеологию Просвещения, подготовившую революцию. Проверки революцией философские концепции не выдержали. Наступившая эпоха разочарования не повергла человечество в отчаяние, потому что на общественную арену выступила новая философия истории – историзм. Карамзин оказался в числе тех, кто усвоил эту философию. Вот почему в диалоге точка зрения историка наиболее ему близка. Историк категорически заявляет, что истину может открыть только история.

Карамзин, как и историк, верит в опыт истории. Не умозрительные построения философов, но опыт истории есть истинный поводьер человечества. Этот опыт надо изучать. Занятая Карамзиным в этой статье позиция объясняет органическое его движение к изучению истории России.

У гражданина свое понимание обязанностей. Ему чужда философия, его не волнует история – он практик, твердо верующий, что призван в своем земном существовании исполнять возложенный на него долг: «Служить отечеству любезному: быть нежным сыном, супругом,

отцом; хранить, приумножать старанием и трудами наследие родительское есть священный долг моего сердца, есть слава моя и добродетель». Дело философов и историков угадывать и объяснять пути развития человечества и отечества. Долг гражданина – «быть полезным», работать, служить отечеству и быть хорошим семьянином.

Позиция гражданина – эмпирична, но она есть реальность, подтвержденная опытом истории, она обуславливает поведение миллионов, на работе, труде которых зиждется вся жизнь общества, могущество державы. И в этом ее сила, ее правота.

В 1796 г. Карамзин отказался от сотрудничества в «Московских ведомостях». Он решил издавать свой альманах «Аониды», в котором собирался печатать новые лучшие стихи русских поэтов. Тем самым Карамзин – редактор альманаха вмешивался в литературный процесс: он объединял усилия поэтов-единомышленников, своим отбором стихотворений не только воспитывал вкус, но утверждал и определенные эстетические нормы быстро развивавшегося русского сентиментализма. Этому способствовали и некоторые его критические статьи. Всего с 1796 по 1799 г. вышло три тома «Аонид». Параллельно Карамзин продолжал заниматься переводами, которые публиковал в специальном издании «Пантеон иностранной словесности» (три тома вышли в 1798 г.).

Преодоление идейного кризиса закономерно привело к изменению эстетических убеждений. Карамзин преодолевает субъективизм. Но это преодоление не означало возвращения на старые позиции времени «Московского журнала». Теперь он смело развивает эстетику сентиментализма, расширяет его возможности в познании и воспроизведении жизни, придает ему черты, обусловленные новой эпохой, опираясь на собственный десятилетний творческий опыт.

Русский сентиментализм, формируемый Карамзиным, утверждал историческую обусловленность человека. Ему свойственно понимание глубокой связи человека с окружающим его миром. В программном предисловии ко второму тому альманаха «Аониды» Карамзин не только дал критическую оценку поэтическим произведениям, тяготеющим к классицизму, но и показал, как отсутствие естественности, верности натуре делает их «надутыми» и холодными. Карамзин писал: «...истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону». Поэт должен уметь показывать «оттенки, которые укрываются от глаз других людей», помня, что «один бомбаст, один гром слов только что оглушает нас и до сердца не доходит», – напротив, «умный стих врезывается в память».

Карамзин уже не ограничивается критикой классицизма, как это было раньше, но подвергает осуждению и писателей-сентименталистов, то есть своих неопытных последователей, настойчиво насаждавших в литературе чувствительность. Для него чувствительность, подчеркнутая сентиментальность так же неестественны и далеки от натуры, как и риторика и «бомбаст» поэзии классицизма. «Не надобно также беспрерывно говорить о слезах, – пишет он, – прибирая к ним разные эпитеты, называя их блестящими и бриллиантовыми, – сей способ трогать очень ненадежен». Уточняя свою позицию, Карамзин формулирует требование психологической правды изображения – поэт должен уметь писать не о чувствах человека вообще, но о чувствах данной личности, о ее конкретных переживаниях, вызванных определенными обстоятельствами. Опыт Шекспира помогал Карамзину в его стремлении правдиво раскрыть психологию человека.

Сентиментализм Карамзина активно способствовал сближению литературы с действительностью. Карамзин опирался на опыт европейского сентиментализма и обогащал его историзмом, он осваивал художественные открытия Шекспира и своих современников – Руссо, Стерна и Лессинга, – но никогда не был подражателем. Творческая независимость, художественная самостоятельность и оригинальность отличали Карамзина. Именно потому, при всем его европеизме, он был глубоко русским писателем. Карамзин выразил и трагизм жизни русского человека, и его исторический оптимизм. Он закономерно пришел к теме художественного воплощения истории России; он способствовал развитию русской литературы не только

как художник, но и как критик, издатель нескольких журналов и альманахов, выступая организатором литературного процесса, наконец, как реформатор русского литературного языка. Причем в своей реформе он опирался на национальную традицию, на опыт и достижения Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина, Г. Р. Державина.

В повестях и «Письмах русского путешественника» он отказался от тяжелой книжной конструкции предложения с глаголом в конце. Используя нормы разговорной речи, Карамзин создал легкую, изящную фразу, передающую эмоциональную выразительность слова. В поэзии он создал особый слог, помогая тем самым рождению новых художественных взглядов. Переводя «все темное в сердцах на ясный нам язык», найдя «слова для тонких чувств», Карамзин создавал лирику глубоко интимного характера, пробивал дорогу в будущее, на которую еще при его жизни встанут Жуковский, Батюшков, юный Пушкин.

Карамзин открывал новые семантические оттенки в старых, часто книжно-славянских словах, обогащая, по существу, русский язык новыми идеями и практической возможностью их выразить («потребность», «развитие», «образ» – применительно к искусству и т. п.), широко применял лексические и фразеологические кальки (с французского), большинство из которых прочно были усвоены русским языком. Новые понятия и представления получили обозначение в новых словосочетаниях; создавал писатель и новые слова, которые навсегда вошли в русский язык («промышленность», «общественность», «общепользовательный», «человечный» и многие другие).

Одновременно Карамзин вел борьбу с употреблением устаревших церковнославянизмов, слов и оборотов старой книжности. «Новый слог», создание которого современники ставили в заслугу Карамзину, широко применялся им в «средних» жанрах – повестях, письмах (частных и литературных), критических статьях и в лирике. Белинский, отмечая заслуги Карамзина, писал, что он «преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжелой славянины и приблизив к живой, естественной, разговорной русской речи».¹⁹ Историческая ограниченность реформы сказалась в том, что Карамзин вводил в литературный язык преимущественно слова образованного дворянского общества. Отсюда – известное засорение речи иностранными словами и лексикой аристократических кругов, деление слов на «благородные» и «низкие» (типа «мужики», «парень» и т. д.), изгонявшиеся из литературного обращения, создание по западноевропейскому образцу оборотов речи и выражений, которые вели к вычурности слога. При переиздании «Писем русского путешественника» в начале XIX в. Карамзин отказался от многочисленных галлицизмов и заменил иностранные слова русскими. Позже Пушкин эту «манерность, робость и бледность» стиля Карамзина называл «вредными последствиями» подражательности и боязни обогащать русский язык за счет народных источников.

10

Новый расцвет литературной деятельности Карамзина начинается с 1802 г., когда он приступил к изданию журнала «Вестник Европы». Карамзин был уже известным и авторитетным писателем. За протекшее десятилетие он вырос как мыслитель и как художник. Правительственный либерализм первых лет царствования Александра I, цензурные послабления позволили ему высказываться в новом журнале более свободно и по более широкому кругу вопросов. К сотрудничеству он привлек Державина, Дмитриева и своих молодых последователей – Жуковского (он опубликовал в журнале элегию «Сельское кладбище») и В. Измайлова.

Журнал, составленный из трех отделов – литературы, критики и политики, быстро завоевал широкую популярность. Выдвигаемые Карамзиным вопросы политики, создаваемые

¹⁹ Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т., т. 6. с. 95.

художественные образы, широкая программа развития национально-самобытной литературы, изложенная в критических статьях, оказывали активное и плодотворное влияние на новое поколение молодых писателей. Своей литературной и журнальной деятельностью Карамзин энергично вмешивался в литературный процесс начала XIX в.

Карамзин-публицист по-прежнему считал, что «дворянство есть душа и благородный образ всего народа». Но Карамзин-художник видел, как в действительности дворяне далеки от созданного им идеала. В новых повестях его появились сатирические краски («Моя исповедь»), ирония (неоконченный роман «Рыцарь нашего времени») – писатель с одобрением относился теперь к сатирическому направлению русской литературы XVIII в., осваивал ее опыт. «Рыцарь нашего времени» интересен и как первая в русской литературе попытка запечатлеть характер героя своего времени.

Наибольший успех выпал на долю самого крупного последнего прозаического произведения писателя – повести «Марфа-посадница», в которой, обращаясь к русской истории, он создал сильный характер русской женщины, не желавшей покориться деспотизму московского царя Ивана III, уничтожившего вольность Новгорода. Карамзин считал исторически неизбежным уничтожение Новгородской республики и подчинение ее русскому самодержавию. В то же время женщина, готовая умереть за свободу, вызывает у писателя восхищение.

В «Вестнике Европы» Карамзин отказался от рецензий, которые занимали большое место в «Московском журнале», и стал писать серьезные статьи, посвященные насущным задачам литературы, – о роли и месте литературы в общественной жизни, о причинах, замедляющих ее успехи и появление новых авторов, о том, что определяет ее развитие по пути национальной самобытности. Литература, утверждал теперь Карамзин, «должна иметь влияние на нравы и счастье», каждый писатель обязан «помогать нравственному образованию такого великого и сильного народа, как российский; развивать идеи, указывать новые красоты в жизни, питать душу моральными удовольствиями и сливать ее в сладких чувствах со благом других людей».

В этом нравственном образовании главная роль принадлежит патриотическому воспитанию. «Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях». Патриотов немало на Руси, но патриотизм свойствен не всем; поскольку он «требует рассуждения», постольку «не все люди имеют его». Задача литературы и состоит в том, чтобы воспитать чувство патриотической любви к отечеству у всех граждан. Нельзя забывать, что в понятие патриотизма Карамзин включал и любовь к монарху. Но в то же время к проповеди монархизма патриотизм Карамзина не сводился. Писатель требовал, чтобы литература воспитывала патриотизм, ибо русские люди еще плохо знают себя, свой национальный характер. «Мне кажется, – продолжал Карамзин, – что мы излишне *смирены* в мыслях о народном своем достоинстве, – а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут». Чем сильнее любовь к отечеству, тем яснее путь гражданина к собственному счастью. Отвергнув культ эгоистической уединенной жизни, Карамзин показывает, что только на пути исполнения общественных должностей человек приобретает истинное счастье. «Мы должны любить пользу отечества... любовь к собственному благу производит в нас любовь к отечеству, а личное самолюбие – гордость народную, которая служит опорой патриотизма». Вот почему и «таланту русскому всего ближе и любезнее прославлять русское». «Должно приучать россиян к уважению собственного» – такую задачу может выполнить только национально-самобытная литература.

Как же обрести эту самобытность? Карамзин пишет статью «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художества». Эта статья – своеобразный манифест нового Карамзина. Она открывает последний, самый плодотворный период творчества писателя, она определяет содержание и стиль его главной книги – «История государства Российского». Естественно поэтому, что в ней писатель и историк решительно пересматривает прежние свои убеждения. Патриотическое воспитание лучше всего может быть осуществлено

на конкретных примерах, история России дает великолепный и бесценный материал художнику и писателю. Предметом изображения станут реальная, объективная, исторически понятая действительность, а не «китайские тени собственного воображения», героями – исторически конкретные русские люди, причем их характеры должны раскрываться в патриотических деяниях. Писатель обязан изображать «героические характеры», которые он найдет в русской истории. Наряду с описанием героических мужских характеров Карамзин высказывает пожелание создать «галерею россиянок, знаменитых в истории». Одну из таких россиянок – Марфу-посадницу – он сделал героиней одноименной повести.

Теперь принципиально по-новому определяется понимание общественной роли писателя. Писатель – это уже не «лжец», умеющий «вымышлять приятно», заставляющий читателя забываться в «чародействе красных вымыслов». Художник, ваятель или писатель, провозглашает теперь Карамзин, – это «орган патриотизма». Основой деятельности писателя должно быть убеждение, что «труд его не бесполезен для отечества», что он как автор помогает согражданам «лучше мыслить и говорить».

Новые задачи и новые темы, которые выдвигал перед писателями Карамзин, требовали и нового языка. Он призывает авторов писать «простыми русскими словами», утверждая, что русский язык по природе своей обладает богатейшими возможностями, которые позволяют автору выразить любые мысли, идеи, чувства: «Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что русский язык груб и неприятен». «Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности». В 1818 г. Карамзин в связи с принятием его в члены Российской Академии произнес речь на торжественном ее заседании; эта речь явилась его последним большим критическим выступлением. В речи много официального, обязательного, даже парадного. Но есть в ней и собственно карамзинские мысли о задачах критики в новых условиях и о некоторых итогах развития литературы. В заключение Карамзин говорил об особенных чертах русского национального характера, который складывался в течение веков, и о необходимости изображения этого характера писателями.

Оценивая русскую литературу за полтора десятилетия XIX в., Карамзин оптимистически смотрит на ее дальнейшее движение по пути народности. «Великий Петр, изменив многое, не изменил всего коренного русского». Русская словесность, «будучи зеркалом ума и чувства народного», также должна иметь в себе «нечто особенное, незаметное в одном авторе, но явное во многих... Есть звуки сердца русского, есть игра ума русского в произведениях нашей словесности, которая еще более отличится ими в своих дальнейших успехах».

11

В политических статьях, написанных в первые два десятилетия XIX в., Карамзин обращался с рекомендациями правительству, пропагандировал идею всеобщего, хотя и не одинакового для разных сословий, просвещения. В работе «Историческое похвальное слово Екатерине II» (1802) он изложил как бы программу царствования Александра I. Опираясь на книгу Монтескье «Дух законов», которую использовала Екатерина II в своем «Наказе», Карамзин настаивал на осуществлении политики просвещенного абсолютизма.

Так появилась записка «О древней и новой России» (вручена императору в марте 1811 г.) – сложный, противоречивый, острополитический документ. В записке две главные темы: доказательство (в который уже раз!), что «самодержавие есть палладиум России», что «для твердости бытия государственного» лучше сохранять крепостное право, пока нравственное воспитание и просвещение не подготовит крепостных к свободе. Новым в записке было критическое отношение к правлению Александра! – впервые гнев сделал перо Карамзина злым и беспощадным. Опираясь на факты, он рисует безрадостную картину внешнего политического

положения России; подробно анализирует беспомощные попытки правительства решить важные экономические проблемы. Карамзин резко осуждает те реформы, «коих благотворность остается доселе сомнительною».

Записка – документ, рассчитанный на одного читателя – Александра I. Именно ему Карамзин и сказал, что правление его не принесло обещанного блага России, но еще более укорило страшное зло, породило безнаказанность действия чиновников-казнокрадов. Эти страсти нельзя читать без волнения. Записка произвела большое впечатление на Пушкина (он познакомился с нею в конце 1830-х гг.). Сохранился его отзыв: «Карамзин написал свои мысли о *Древней и Новой России*, со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостью убеждения сильного и глубокого»; «Когда-нибудь потомство оценит... благородство патриота»...

В записке зло охарактеризованы министры, сказано правда о самом царе, который оказывается, по Карамзину, неопытным, мало смыслящим во внешней и внутренней политике человеком, любителем внешних форм учреждений и занятым не благом России, а желанием «пускать пыль в глаза». Бедой Карамзина было то, что он не мог извлечь из реального политического опыта нужный урок для себя. Верный своей политической концепции просвещенного абсолютизма, он вновь обращался к Александру, желая внушить ему мысль, что тот должен стать самодержцем по образцу и подобию монарха, начертанному Монтескье в «Духе законов». Дворянская ограниченность удерживала Карамзина на этих позициях и жестоко мстила ему, отбрасывая его все дальше в сторону от громко заявлявшей о себе дворянской революционности.

Карамзинская «Записка» – это острополитический публицистический документ додекабристской эпохи, начала 10-х годов XIX в. Резкая и жесткая критика александровского правления в нем причудливо сочеталась с рекомендациями укрепления самодержавной власти. В то же время должно признать, что это, пожалуй, одно из самых неизученных произведений русской литературы. Оттого Карамзина часто обвиняют в разных грехах. Среди них находим мы и обвинение писателя в том, что он критически относится к Петру I и его реформам. В этом стоит разобраться.

Карамзин был историком и потому отлично понимал историческую закономерность важнейших реформ и действий царя-преобразователя. Понимал и приветствовал их: Петр I «исправил, умножил войско, одержал блестящую победу над врагами искусными и мужественными; завоевал Ливонию, сотворил флот, основал гавани, издал многие законы мудрые, привел в лучшее состояние торговлю, рудокопни, завел мануфактуры, училища, Академию, наконец, поставил Россию на знаменитую степень в политической системе Европы. Говоря о превосходных дарованиях, забудем ли почти важнейшее для самодержцев дарование: употреблять людей по способностям?» Именно этому качеству Петра I Россия обязана появлению на политической арене талантливых полководцев, министров, заводчиков, деятелей культуры, чьи таланты и дарования были «угаданы» царем.

Но самое главное в этой оценке деятельности Петра I – глубоко историческое понимание закономерности появления Петра I, его реформ, его преобразований. Карамзин, пожалуй, впервые формулирует мысль о преемственности исторического развития России. Он писал: Петр сделал много для величия России, он есть «творец нашего величия», но это оказалось возможным оттого, что прошлые эпохи подготовили его преобразования. «Петр нашел средства делать великое, – князья московские приготавливали оное. И, славя славное в сем монархе, оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования?»

Карамзин писал не панегирик, но исторически обусловленные советы Александру. Это первый и беспрецедентный случай – писатель, исповедующий просветительскую концепцию абсолютизма, советы дает, исходя не из посылок разума, но опираясь на опыт истории. Вот почему записку «О древней и новой России» должно рассматривать как первый политический документ, написанный с позиций историзма.

В чем же Карамзин видел «вредную сторону его (Петра I. – Г. М.) блестящего царствования»? Главный вред – игнорирование опыта истории России, неуважение к нравам и обычаям русского народа. Он писал: «Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им (россиянам. – Г. М.) уставы есть насилие, незаконное и для монарха самодержавного». Игнорирование объясняется самовластием – его-то и не принимает Карамзин. Результаты самовластия печальны для отечества: «Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр».

Записка вызвала раздражение царя. Пять лет своей холодностью Александр подчеркивал, что он не доволен образом мыслей историка. Только после завершения Карамзиным работы над первыми восемью томами «Истории государства Российского» в 1816 г. Александр сделал вид, что забыл недовольство запиской. Карамзин же с поразительной настойчивостью использовал свое положение для того, чтобы учить царствовать Александра I. В 1819 г. он написал новую записку – «Мнение русского гражданина», – в которой писатель обвиняет Александра I в нарушении долга перед отечеством и народом, указывая, что его действия начинают носить характер «самовластного произвола». «Мнение» было прочитано Александру самим Карамзиным. Завязался долгий и трудный разговор. Александр, видимо, был крайне возмущен историком, а тот, уже более не сдерживая себя, с гордостью заявил ему: «Государь! У вас много самолюбия.

Я не боюсь ничего. Мы все равны перед богом. Что говорю я вам, то сказал бы я вашему отцу, государь! Я презираю либералов нынешних, я люблю только ту свободу, которую никакой тиран не может у меня отнять... Я не прошу более вашего благоволения, я говорю с вами, может быть, в последний раз».²⁰

Придя домой из дворца, Карамзин сделал приписку к «Мнению» – «Для потомства», где рассказал об этой встрече, готовясь, видимо, к любым неожиданностям.

18 декабря 1825 г., через четыре дня после восстания на Сенатской площади, Карамзин написал «Новое прибавление» к «Мнению», где сообщал, что после беседы с Александром в 1819 г. он «не лишился его благоволения», чем снова счел нужным воспользоваться. Перед лицом потомства Карамзин свидетельствовал: «Я не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой Г(урьевской) системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве просвещения, или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные».²¹

До конца дней своих Карамзин мужественно учил царя, давал советы, выступал ходатаем за дела отечества – и все безрезультатно! Александр, заявляет Карамзин, слушал его советы, «хотя им большею частию и не следовал». Писатель-историк и гражданин, Карамзин добивался доверия и милости царя, одушевляемый «любовью к человечеству», но «эта милость и доверенность остались бесплодны для любезного отечества».

Исторически справедливая оценка места и роли Карамзина в литературном движении первой четверти XIX в. возможна только при понимании сложности его идеологической позиции, противоречий между субъективными намерениями писателя и объективным звучанием его произведений. Во многом поучительно для нас в этом отношении восприятие Карамзина Герценом. Карамзин для него – писатель, который «сделал литературу гуманною», в его облике он чувствовал «нечто независимое и чистое». Его «История государства Российского» – «великое творение», она «весьма содействовала обращению умов к изучению отечества».

²⁰ Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. I. СПб., 1862, с. 9. (Слова эти были сказаны по-французски.)

²¹ Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. I, с. 11–12.

Но, с другой стороны, «можно было заранее предсказать, что из-за своей сентиментальности Карамзин попадет в императорские сети, как попался позже поэт Жуковский». Возмущаясь деспотизмом, стремясь облегчить тяготы народа, постоянно поучая царя, он осудил декабристов, оставаясь верным идее, что только самодержавная власть принесет благо России. А «идея великого самодержавия, – с гневом писал Герцен, – это идея великого порабощения».²²

12

Несомненно, в первую четверть XIX в. самым крупным и программным документом формировавшегося в России историзма явилась «История государства Российского» Карамзина.

Работа над «Историей» длилась более двух десятилетий (1804–1826). Усвоенные и выработанные в 1790-е гг. принципы историзма получили при написании «Истории» дальнейшее развитие. В 1818 г. русский читатель получил первые восемь томов «Истории». К тому же времени вышли из печати шесть романов В. Скотта. В этом, в сущности случайном совпадении, проявлялась некая закономерность. Оба писателя обратились к истории, уже опираясь на выработанные их предшественниками идеи новой философии истории, и сами в процессе художественного исследования прошлого своей страны сумели двинуть вперед науку истории. Отсюда огромное влияние В. Скотта и Н. Карамзина на современную им литературу и науку – их сочинения отвечали требованиям времени. В частности, на опыт В. Скотта опирались французские историки, выступившие со своими трудами в конце 1820-х гг.; на опыт Н. Карамзина опирался Пушкин уже в период южной ссылки и особенно при написании трагедии «Борис Годунов» в 1825 г.²³

«История» построена на огромном фактическом материале, собиравшемся писателем в течение многих лет. Среди первоклассных по своей значимости документов на первое место должно поставить летописи. В тексте «Истории» использованы не только ценнейшие сведения и факты летописей – Карамзин включил в свое сочинение и обширные цитаты или пересказы входивших в летописи повестей, преданий, легенд. Для Карамзина летопись ценна прежде всего тем, что она открывала отношение к фактам, событиям и легендам современника их – летописца.

Потому важнейшим принципом «Истории» и стало стремление ее автора «смотреть в тусклое зеркало древней летописи», следуя за ней в изложении и оценке событий, не украшая вымыслом или произвольной догадкой свой рассказ. Постигание точки зрения летописца, его «простодушия» и суда над современниками, в которых запечатлелся «дух времени», было задачей Карамзина-художника. Карамзин-историк выступал с комментарием этой летописной версии событий.

Монархическая концепция «Истории» (хотя писатель опирался при этом на точку зрения Монтескье и Руссо, согласно которой монархическое правление «наиболее пригодно» «для больших государств», а республиканское – «для малых») закономерно вызвала возражение декабристов. В годы, когда дворянские революционеры разворачивали борьбу с самодержавием, всякая его защита, хотя бы и на материале истории, объективно укрепляла реакцию. В то же время видеть в «Истории» только защиту самодержавия и осуждать ее на этом основании было бы неисторично. В сочинении Карамзина заложено глубокое противоречие – умозрительной концепции писателя противопоставлены многочисленные факты, которые опровергали идею

²² Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 7, с. 190–192.

²³ Подробнее об историзме «Истории государства Российского» см. в главе: «Карамзин и Просвещение. Формирование исторического мышления. „История государства Российского“. Карамзин и Вальтер Скотт». – В кн.: Куприянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. Очерки и характеристики. Л., 1976, с. 169–195.

благодетельности самодержавия для России и ее народа. И Карамзин не скрывал этих фактов, но честно приводил и объективно оценивал их. Привнесенная в сочинение идея не подтверждалась материалом истории.

Противоречие это обернулось трагедией Карамзина, политическая идея заводила в тупик. И несмотря на это, Карамзин не изменил своему методу выяснения истины, открывавшейся в процессе художественного исследования прошлого, оставался верен ей, даже если она противоречила его политическому идеалу. Это было победой Карамзина художника. Именно потому Пушкин и назвал «Историю» подвигом честного человека.

Пушкин отлично понимал противоречивость сочинения Карамзина. Отвечая декабристам на их критику «Истории», он писал: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения».²⁴ Слова Пушкина следует понимать еще и в том смысле, что суждения Карамзина о самодержавии не покрывают всего огромного содержания «Истории», что многотомный труд нельзя сводить к доказательству тощего политического тезиса, что было в этом труде нечто такое, за что можно было ее автора назвать «великим писателем», за что следовало ему сказать спасибо.

В 1821 г. вышел из печати девятый том, посвященный царствованию Ивана Грозного, в 1824-м – десятый и одиннадцатый тома, рассказывавшие о Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове. Смерть Карамзина в 1826 г. оборвала работу над двенадцатым томом «Истории», в котором ему предстояло описать борьбу русского народа под руководством Минина и Пожарского за освобождение Русского государства от польско-шляхетской интервенции. Рукопись обрывалась на фразе: «Орешек не сдавался...»

Сохраняя свои идейные позиции, историк не остался глух к общественным событиям, предшествовавшим восстанию декабристов, и изменил акценты в последних томах «Истории» – в центре внимания оказались самодержжцы, ставшие на путь деспотизма. Девятый том, где резко осуждалась тирания Грозного, имел особенно большой успех. К. Рылеев использовал его материал в своих «Думах».

Историзм карамзинского сочинения проявлялся прежде всего в рассмотрении истории Русской земли как процесса становления, хотя и осложненного тягчайшими, длительными испытаниями и бедствиями, единого мощного государства, занявшего свое место в ряду других государств мира. Эта идея красной нитью проходит через все летописи, и ее воспринял Карамзин, она пронизывает все его повествование. Но летописи открыли ему еще одну «тайну» истории – меняющийся из века в век тип сознания русских людей, то, что было названо в «Истории» «духом времени».

Историзм проявил себя и в раскрытии сознания летописцев. И хотя у Карамзина нет ни одного характера летописца, все же Пушкин, создавший в трагедии «Борис Годунов» тип летописца – Пимена, счел нужным указать, что этим он обязан Карамзину.

Художественное начало «Истории» позволило раскрыть процесс формирования национального характера. Главная тема летописей – судьба Русской земли и непрерывная борьба за единство – сосредоточила внимание летописца на роли национального фактора, таких самобытных черт русского самосознания, как патриотическая гражданственность, понимание героического, забота о благе родной земли, способность выходить «из домашней неизвестности», из сферы частных, семейных интересов «на театр народный». Однако так же, как и в летописях, в сочинении Карамзина оказался обойденным социальный фактор вообще и его влияние на выработку национального самосознания в частности.

Проблема социальности и социальной обусловленности человека и его сознания встанет в порядок дня позже – в 1830-е гг. Но, не сосредоточиваясь на выяснении социальных

²⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. 8. Л.—М., 1949, с. 67–68.

отношений Древней Руси, не понимая их роли, Карамзин все же счел необходимым проследить влияние на национальную жизнь политических режимов прошлого, как они складывались в формы княжеского и царского государственного правления. Проблема взаимоотношений народа и власти, встававшая перед Карамзиным в связи с его монархической концепцией, оборачивалась новым аспектом: что отличает русский народ – любовь к установленному князем или царем порядку или склонность к мятежам?

Еще до написания «Истории» Карамзин эту проблему решал с позиций не истины, но «вымысла», догадки, которые оказывались подчиненными идее «благодетельности самодержавия» для России и ее народа. И, опираясь на вымысел, Карамзин отметил, что русский народ, «кажется, всегда чувствовал необходимость повиновения и ту истину, что своевольная управа граждан есть во всяком случае великое бедствие для государства».²⁵

Изучение истории по документам, по летописям опрокинуло этот «вымысел». Истина оказалась иной – не «чувствовал всегда» народ русский необходимость повиновения, мятежи народные оказались важным фактором русской национальной жизни на протяжении веков.

Столкнувшись с мятежами как реальным фактом, Карамзин принужден был выяснить их причину. Знаменателен принципиальный вывод, сделанный Карамзиным, – русский бунт не есть проявление дикости «непросвещенного» народа или результат происков плутов и мошенников, как то постоянно утверждала дворянская историография. Мятежи, по Карамзину, были следствием антинародной политики князей, народ всегда был вынуждаем на бунт несправедливыми действиями властей.

Вот характерная для Карамзина констатация фактов: «Народ стenal», «Сильные утесняли слабых, наместники и тиуны грабили Россию, как половцы». Опираясь на мнение летописца, Карамзин писал: «Народ за хищность судей и чиновников ненавидит и царя самого добродушного и милосерднейшего». Спасая свою любимую идею, отступая от истины, Карамзин объясняет, что в возникновении мятежей виновато не самодержавие, а те монархи, которые отступали от принципов самодержавия. («Предмет самодержавия есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы действия их направить к величайшему благу».²⁶) Вина с плеч самодержавия перекладывалась на плечи отдельных личностей – тиранов, оказавшихся на царском престоле: такие монархи, как Грозный, Годунов – тираны и преступники, – подлежат суду историка, но не народа. Карамзин лишает народ права на бунт. Как же тогда объяснить действительно происходившие бунты против самодержцев?

Карамзин предлагает свое толкование фактов истории. Народный бунт, мятеж объявляется проявлением суда небесного – это кара божественная за совершенные царями-тиранами преступления. Тем самым с народа снимается «вина» за мятеж – он оказывается всего лишь орудием Провидения. В других случаях, когда народ не восстает против самодержца, но терпит бедствия, чинимые властью, Карамзин заставляет его «безмолвствовать». Эти грозные и многозначительные слова, исполненные не только укоризны, но и немой угрозы, довольно часто появляются на страницах последних томов «Истории».

По Карамзину, добродетель народа вовсе не противоречит народной «любви к мятежам». Он мог «безмолвствовать» во время правления тиранов, он мог поднять восстание и «ниспровергнуть» государя, а в годину испытаний спасти отечество. Свой вывод Карамзин формулировал довольно откровенно: «Сей народ, безмолвный в грозах самодержавия наследственного, уже играл царями, узнав, что они могут быть избираемы и низвергаемы его властью».²⁷

Так Карамзин оказывался способным художественно показать, что коренные черты народного характера раскрываются даже в «неистовстве бунта», отвергая тем самым концеп-

²⁵ Вестник Европы, 1803, № 18, с. 120.

²⁶ Карамзин Н. М. Соч., т. 8. М., 1820, с. 51.

²⁷ История государства Российского, т. 12. СПб., 1829, с. 94.

цию русского национального характера, выдвинутую Екатериной II («образцовое послушание»).

Карамзин в своей «Истории» открыл громадный художественный мир древних летописей. Писатель прорубил окно в прошлое, он действительно, как Колумб, нашел древнюю Россию, связав прошлое с настоящим. Прошлое, удаленное от современности на много веков, представало не как раскрашенная вымыслом старина, но как действительный мир, многие тайны которого раскрыты как истины, помогавшие не только пониманию отечества, но и служившие современности. Понятие русского национального самосознания наполнилось конкретным содержанием.

Несмотря на необычность жанра, «История государства Российского» есть выдающееся произведение по русской истории, высшее художественное достижение Карамзина, его главная книга. Она на историческом материале учила понимать, видеть и глубоко ценить поэзию действительной жизни. Героями Карамзина стали родина, нация, ее гордая, исполненная славы и великих испытаний судьба, нравственный мир русского человека. Карамзин с воодушевлением прославлял русское, «приучал россиян к уважению собственного», но ему был чужд национализм: «я не всегда мог скрыть любовь к отечеству... Но не обращал пороков в добродетели; не говорил, что русские лучше французов, немцев, но люблю их более: один язык, одни обыкновения, одна участь...»²⁸

Политические убеждения писателя обусловили его сосредоточенность на изображении князей, царей, государства. Но исследование истины с нарастающей силой приковывало его внимание к народу. При описании некоторых эпох под пером Карамзина главным героем становился простой люд. Именно поэтому он обращает особое внимание на такие события, как «восстание россиян при Донском, падение Новгорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время междоусобицы».

Громадный успех «Истории», ее долгое влияние на русских писателей объясняется еще и глубоким патриотизмом Карамзина, проявлением личного лирического отношения автора к описываемым им событиям. Заслуживает внимания высказанное в 1824 г. на обеде у графа Румянцева суждение о том, как должно писать историю и чем должен руководствоваться автор труда по национальной истории. На обеде присутствовал немецкий путешественник и сочинитель Буссе, который и записал это мнение Карамзина. Л. Н. Майков опубликовал его в русском переводе:

«Мой способ писать возник из того представления, которое я имею о приемах историка. Из всех литературных произведений народа изложение истории его судьбы более всего должно вызывать его интерес и менее всего может иметь общий, не строго национальный характер. Историк должен ликовать и горевать со своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, искажать факты, преувеличивать счастье или умялять в своем изложении бедствия; он должен быть прежде всего правдив; но может, даже должен все неприятное, все позорное в истории своего народа передавать с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии, говорить с радостью и энтузиазмом. Только таким образом может он сделаться национальным бытописателем, чем, прежде всего, должен быть историк».²⁹ Карамзин был таким бытописателем.

При работе над трагедией «Борис Годунов» (1825) Пушкин, понявший глубокий и мудрый смысл «Истории», смог использовать открытия Карамзина. Еще не зная трудов французских историков, Пушкин, опираясь на национальную традицию, вырабатывает историзм на базе реализма как метод познания и объяснения прошлого и настоящего. Следуя за Карамзиным в раскрытии русского национального характера, он создает образ Пимена. Еще более

²⁸ Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. I, с. 206.

²⁹ Русская старина, 1890, № 9, с. 453.

примечательно отношение Пушкина к открытой Карамзиным «истине» о характере отношений народа и самодержавия. Отбросив монархическую концепцию автора «Истории», отвергнув его апофеизмы в пользу самодержавия, Пушкин увидел и понял как закономерность эмпирически установленный факт постоянных мятежей народа против князей и царей. Историзм помог Пушкину открыть другую, более важную истину – ненависть народа к самодержавию, враждебность народу этой формы правления, непримиримый их антагонизм. Оттого Пушкин и подчеркивал, что Карамзину он обязан «мыслию» своей «трагедии», что ему он следовал «в светлом развитии происшествий».

События французской революции и последующая реакция на них в известной мере обусловливали преемственную связь между периодом, когда началось формирование историзма в эпоху Просвещения, и его последующим развитием в 1820-е гг. Энгельс указывал, что именно в первые десятилетия XIX в. шел бурный процесс выработки новой философии истории. «... История человечества уже перестала казаться диким хаосом бессмысленных насилий... она, напротив, предстала как процесс развития самого человечества, и задача мышления свелась теперь к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю закономерность среди всех кажущихся случайностей».³⁰ «История государства Российского» – частный пример процесса философского осмысления исторического прошлого на материале истории России.

Г. П. Макогоненко

³⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 20, с. 23.

Автобиография ^[1]



Надворный советник Николай Михайлов сын Карамзин родился 1-го декабря 1766 года в Симбирской губернии; учился дома и, наконец, в пансионе у московского профессора Шадена,

от которого ходил также и в разные классы Московского университета. Служил в гвардии. Первыми трудами его в словесности были переводы, напечатанные в «Детском чтении». По возвращении своем из чужих краев издавал два года «Московский журнал», после – «Аглаю», «Аониды» и «Вестник Европы». Полные сочинения его напечатаны в восьми томах. Он перевел еще Мармонтелевы повести и многие мелкие сочинения, изданные под именем «Пантеон иностранной словесности». В 1803 году сделан российским историографом и с того времени занимается сочинением «Российской истории».

Повести



БЕДНАЯ ЛИЗА ^[2]

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели – куда глаза глядят – по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си...нова³¹ монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного *амфитеатра*: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению деревьев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, – стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, – печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах – с бледным лицом, с томным взором – смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит – и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет – и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества – печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря – воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженья в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

³¹ Си...нова... – Симонова монастыря.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего – ибо и крестьянки любить умеют! – день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, – которая осталась после отца пятнадцати лет, – одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды – и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать, – говорила Лиза, – ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих – ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. – «На том свете, любезная Лиза, – отвечала горестная старушка, – на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть – что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы – и покраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» – спросил он с улыбкою. – «Продаю», – отвечала она. – «А что тебе надобно?» – «Пять копеек». – «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». – Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, – еще более покраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. – «Для чего же?» – «Мне не надобно лишнего». – «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня». – Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку. – «Куда же ты пойдешь, девушка?» – «Домой». – «А где дом твой?» – Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек...» – «Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос...» – «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образом и молю господу бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». – У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» – сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем. – На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: «Ах!...» Молодой незнакомец стоял под окном.

«Что с тобой случилось?» – спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела. – «Ничего, матушка, – отвечала Лиза робким голосом, – я только его увидела». – «Кого?» – «Того господина, который купил у меня цветы». Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего. «Здравствуй, добрая старушка! – сказал он. – Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей – может быть, для того, что она его знала наперед, – побежала на погреб – принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, – схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил – и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении – о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч., и проч. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были – нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блеснит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. – «Мне хотелось бы, – сказал он матери, – чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам». – Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правою рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. – Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. «Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин?» – спросила старуха. – «Меня зовут Эрастом», – отвечал он. – «Эрастом, – сказала тихонько Лиза, – Эрастом!» Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. – Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка! Матушка! Как этому стать? Он барин, а между крестьянами...» – Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои проводжали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям», – думал он и решился – по крайней мере на время – оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь – мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове природы. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напиться живо-

творными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. – Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, – и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: „Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей“. Он взглянул бы на меня с видом ласковым – взял бы, может быть, руку мою... Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум весел – взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке – Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и – мечта ее отчасти исполнилась: ибо он *взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку...* А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем – не могла отнять у него руки – не могла отворотиться, когда он приблизился к ней с розовыми губами своими... Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящего! «Милая Лиза! – сказал Эраст. – Милая Лиза! Я люблю тебя», и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и... Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость – Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, – смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: «Люби меня!», и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться. «Ах, Эраст! – сказала она. – Всегда ли ты будешь любить меня?» – «Всегда, милая Лиза, всегда!» – отвечал он. – «И ты можешь мне дать в этом клятву?» – «Могу, любезная Лиза, могу!» – «Нет! мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?» – «Нельзя, нельзя, милая Лиза!» – «Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!» – «Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего слышать». – «Для чего же?» – «Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое». – «Нельзя статься». – «Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова». – «Хорошо: надобно тебя послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее». – Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видаться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видаться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!» – думала она и восхищалась сею мыслию. «Ах, матушка! – сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. – Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!» – Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно, в самом деле, показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. «Ах, Лиза! – говорила она. – Как все хорошо у господ бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается.

Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали». А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженьях в осьмидесяти от хижины) – дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались – но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия.³² «Когда ты, – говорила Лиза Эрасту, – когда ты скажешь мне: „Люблю тебя, друг мой!“, когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме – Эраста. Чудно! Чудно, мой друг, что я, не зная тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен». – Эраст восхищался своей пастушкой – так называл Лизу – и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми *страстная дружба* невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, – думал он, – не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» – Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. «Я люблю ее, – говорила она, – и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого». – Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видала. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться – до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!» – Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели. «Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?» – «Ах, Эраст! Я плакала!» – «О чем? Что такое?» – «Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла». – «И ты соглашаешься?» – «Жестокий! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!» – Эраст целовал Лизу, говорил, что ее счастье дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. – «Однако ж тебе нельзя быть моим

³² Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались – но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия. – Цинтия (рим. миф.) – одно из имен Артемиды. Артемида (греч. миф.) – дочь Зевса, сестра бога света Аполлона, вечно юная, прекрасная богиня Луны, благословляющая и дающая счастье в браке.

мужем!» – сказала Лиза с тихим вздохом. – «Почему же?» – «Я крестьянка». – «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, – и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».

Она бросилась в его объятия—ивсейчаснадлежало погибнуть непорочности! – Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей – никогда Лиза не казалась ему столь прелестною – никогда ласки ее не трогали его так сильно – никогда ее поцелуи не были столь пламенны – она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась – мрак вечера питал желания – ни одной звездочки не сияло на небе – никакой луч не мог осветить заблуждения. – Эраст чувствует в себе трепет – Лиза также, не зная отчего – не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где – твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал – искал слов и не находил их. «Ах, я боюсь, – говорила Лиза, – боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя... Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?... Боже мой! Что такое?» – Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. «Эраст, Эраст! – сказала она. – Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!» Грозно шумела буря, дождь лился из черных облаков – казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. – Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним. «Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы!» – «Будем, Лиза, будем!» – отвечал он. – «Дай бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем... Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся».

Свидания их продолжались; но как все переменялось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы – одними ее любви исполненными взорами – одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, – а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение *всех* желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспляял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог *гордиться* и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастье. Она видела в нем перемену и часто говорила ему: «Прежде бывал ты веселее, прежде бывали мы покойнее и счастливее, и прежде я не так боялась потерять любовь твою!» – Иногда, прощаясь с ней, он говорил ей: «Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело», – и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал ей: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход». – Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила: «Тебе нельзя остаться?» – «Могу, – отвечал он, – но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества». – «Ах, когда так, – сказала Лиза, – то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить». – «Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза». – «Я умру, как скоро тебя не будет на свете». – «Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу». – «Дай бог! Дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем,

что с тобою случится, а я писала бы к тебе—о слезах своих!» – «Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала». – «Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое». – «Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся». – «Буду, буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!»

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиной матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что *ласковый, пригожий барин* ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне». – Старушка осыпала его благословениями. «Дай господи, – говорила она, – чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!» – Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала – Эраст плакал – оставил ее – она упала – стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся – далее – далее – и наконец скрылся – воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя – и свет показался ей уныл и печален. Все приятности природы сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах! – думала она. – Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертию своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» – Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: «У меня есть мать!» – остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. – С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда – хотя весьма редко – златой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как все переменится!» – от сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. – Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретила ее великолепная карета, и в сей карете увидела она – Эраста. «Ах!» – закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и повернула на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя – в Лизиних объятиях. Он побледнел – потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей – возьми их, – он положил ей деньги в карман, –

позволь мне поцеловать тебя в последний раз – и поди домой». – Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора».

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте – готов проклинать его – но язык мой не движется – смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? – Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства – жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице и в таком положении, которого никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!» – вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза – встала с помощью сей доброй женщины, – благодарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить, – думала Лиза, – нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!» – Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость – осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, – кликнула ее, вынула из кармана десять империалов и, подавая ей, сказала: «Любезная Аня, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке – они не краденые – скажи ей, что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, – к Э... На что знать его имя? – Скажи, что он изменил мне, – попроси, чтобы она меня простила, – бог будет ее помощником, – поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую, – скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, – скажи, что я...» Тут она бросилась в воду. Аня закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в деревню – собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы *там*, в новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела – глаза навек закрылись. – Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могилке. – Теперь, может быть, они уже примирились!

ОСТРОВ БОРНГОЛЬМ³³

Друзья! прошло красное лето, золотая осень побледнела, зелень увяла, деревья стоят без плодов и без листьев, туманное небо волнуется, как мрачное море, зимний пух сыплется на холодную землю – простимся с природою до радостного весеннего свидания, укроемся от вьюг и метелей – укроемся в тихом кабинете своем! Время не должно тяготить нас: мы знаем лекарство от скуки. Друзья! Дуб и береза пылают в камине нашем – пусть свирепствует ветер и засыпает окна белым снегом! Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки и повести, и всякие были.

Вы знаете, что я странствовал в чужих землях, далеко, далеко от моего отечества, далеко от вас, любезных моему сердцу, видел много чудного, слышал много удивительного, многое вам рассказывал, но не мог рассказать всего, что случилось со мною. Слушайте – я повествую – повествую истину, не выдумку.

Англия была крайним пределом моего путешествия. Там сказал я самому себе: «Отечество и друзья ожидают тебя; время успокоиться в их объятиях, время посвятить страннический жезл твой сыну Ману,³⁴ время повесить его на густейшую ветвь того дерева, под которым играл ты в юных летах своих», – сказал и сел в Лондоне на корабль «Британию», чтобы плыть к любезным странам России.

Быстро катились мы на белых парусах вдоль цветущих берегов величественной Темзы. Уже беспредельное море засинелось перед нами, уже слышали мы шум его волнения – но вдруг переменялся ветер, и корабль наш, в ожидании благоприятнейшего времени, должен был остановиться против местечка Гревзенда.

Вместе с капитаном вышел я на берег, гулял с покойным сердцем по зеленым лугам, украшенным природою и трудолюбием, – местам редким и живописным; наконец, утомленный жаром солнечным, лег на траву, под столетним вязом, близ морского берега, и смотрел на влажное пространство, на пенные валы, которые в бесчисленных рядах из мрачной отдаленности неслись к острову с глухим ревом. Сей унылый шум и вид необозримых вод начинали склонять меня к той дремоте, к тому сладостному бездействию души, в котором все идеи и все чувства останавливаются и цепенеют, подобно вдруг замерзающим ключевым струям, и которое есть самый разительнейший и самый пиитический образ смерти; но вдруг ветви потряслись над моею головою... Я взглянул и увидел – молодого человека, худого, бледного, томного, – более привидение, нежели человека. В одной руке держал он гитару, другою срывал листочки с дерева и смотрел на синее море неподвижными черными глазами своими, в которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться с его взором: чувства его были мертвы для внешних предметов; он стоял в двух шагах от меня, но не видал ничего, не слышал ничего. – «Несчастный молодой человек! – думал я. – Ты убит роком. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты несчастлив!»

Он вздохнул, поднял глаза к небу, опустил их опять на волны морские – отошел от дерева, сел на траву, заиграл на своей гитаре печальную прелюдию, смотря беспрестанно на море, и запел тихим голосом следующую песню (на датском языке, которому учил меня в Женеве приятель мой доктор NN)³⁵:

Законы осуждают

³³ Впервые – альманах «Аглая», 1794, ч. 1.

³⁴ Во время древности странники, возвращаясь в отечество, посвящали жезлы свои Меркурию.

³⁵ ...приятель мой доктор NN... – Речь идет о Готфриде Беккере, датском химике, который вместе с Карамзиным путешествовал по Швейцарии.

Предмет моей любви;
Но кто, о сердце! может
Противиться тебе?

Какой закон святее
Твоих врожденных чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Люблю – любить ввек буду.
Кляните страсть мою,
Безжалостные души,
Жестокие сердца!

Священная природа!
Твой нежный друг и сын
Невинен пред тобою.
Ты сердце мне дала;

Твои дары благие
Украсили ее —
Природа! Ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!

Твой гром гремел над нами,
Но нас не поражал,
Когда мы наслаждались
В объятиях любви. —

О Борнгольм, милый Борнгольм!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно;
Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!
Навек я удален
Родительскою клятвой
От берегов твоих!

Еще ли ты, о Лиля!
Живешь в тоске своей?
Или в волнах шумящих
Скончала злую жизнь?

Явился мне, явился,
Любезнейшая тень!
Я сам в волнах шумящих
С тобою погребусь.

Тут, по невольному внутреннему движению, хотел я броситься к незнакомцу и прижать его к сердцу своему, но капитан мой в самую сию минуту взял меня за руку и сказал, что благоприятный ветер развевает наши парусы и что нам не должно терять времени. – Мы поплыли. Молодой человек, бросив гитару и сложив руки, смотрел вслед за нами – смотрел на синее море. —

Волны пенились под рулем корабля нашего, берег гревзендский скрылся в отдалении, северные провинции Англии чернелись на другом краю горизонта – наконец все исчезло, и птицы, которые долго вились над нами, полетели назад к берегу, как будто бы уstraшенные необозримостью моря. Волнение шумных вод и туманное небо остались единственным предметом глаз наших, предметом величественным и страшным. – Друзья мои! Чтобы живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, надобно быть на открытом море, где *одна тонкая дощечка*, как говорит Виланд, *отделяет нас от влажной смерти*, но где искусный пловец, распуская парусы, летит и в мыслях своих видит уже блеск золота, которым в другой части мира наградится смелая его предприимчивость. «Nil mortalibus arduum est» – «Нет для смертных невозможного», – думал я с Горацием, теряясь взором в бесконечности Нептунова царства.

Но скоро жестокий припадок морской болезни лишил меня чувства. Шесть дней глаза мои не открывались, и томное сердце, орошаемое пеною бурных волн,³⁶ едва билось в груди моей. В седьмой день я ожил и хотя с бледным, но радостным лицом вышел на палубу. Солнце по чистому лазоревому своду катилось уже к западу, море, освещаемое златыми его лучами, шумело, корабль летел на всех парусах по грядам рассекаемых валов, которые тщетно силились опередить его. Вокруг нас, в разном отдалении, развевались белые, голубые и розовые флаги, а на правой стороне чернелось нечто подобное земле.

«Где мы?» – спросил я у капитана. – «Плавание наше благополучно, – сказал он, – мы прошли Зунд; берега Швеции скрылись от глаз наших. На правой стороне видите вы датский остров Борнгольм, место опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском. Когда наступит ночь, мы бросим якорь».

«Остров Борнгольм, остров Борнгольм!» – повторил я в мыслях, и образ молодого гревзендского незнакомца оживился в душе моей. Печальные звуки и слова песни его отзывались в моем слухе. «Они заключают в себе тайну сердца его, – думал я, – но кто он? Какие законы осуждают любовь несчастного? Какая клятва удалила его от берегов Борнгольма, столь ему милого? Узнаю ли когда-нибудь его историю?»

Между тем сильный ветер нес нас прямо к острову. Уже открылись грозные скалы его, откуда с шумом и пеною свергались кипящие ручьи во глубину морскую. Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон огражденным рукою величественной природы; ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утесах. С ужасом видел я там образ холодной, безмолвной вечности, образ неумолимой смерти и того неопisanного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно.

Солнце погрузилось в волны – и мы бросили якорь. Ветер утих, и море едва-едва колебалось. Я смотрел на остров, который неизъяснимою силою влек меня к берегам своим; темное предчувствие говорило мне: «Там можешь удовлетворить своему любопытству, и Борнгольм останется навеки в твоей памяти!» – Наконец, узнав, что недалеко от берега есть рыбацьи хижины, решился я просить у капитана шлюпки и ехать на остров с двумя или тремя матрозами. Он говорил об опасности, о подводных камнях, но, видя непреклонность своего пассажира, согласился исполнить мое требование с тем условием, чтобы я на другой день рано поутру на корабль возвратился.

Мы поплыли и благополучно пристали к берегу в небольшом тихом заливе. Тут встретили нас рыбаки, люди грубые и дикие, выросшие на холодной стихии, под шум валов морских и

³⁶ В самом деле, пена волн часто орошала меня, лежащего почти без памяти на палубе.

незнакомые с улыбкою дружелюбного приветствия; впрочем, не хитрые и не злые люди. Услышав, что мы желаем посмотреть острова и ночевать в их хижинах, они привязали нашу лодку и повели нас, сквозь распавшуюся кремнистую гору, к своим жилищам. Через полчаса вышли мы на пространную зеленую равнину, где, подобно как на долинах альпийских, рассеяны были низенькие деревянные домики, рощицы и громады камней. Тут оставил я своих матрозов, а сам пошел далее, чтобы наслаждаться еще несколько времени приятностями вечера; мальчик лет тринадцати был проводником моим.

Алая заря не угасла еще на светлом небе, розовый свет ее сыпался на белые граниты и вдали, за высоким холмом, освещал острые башни древнего замка. Мальчик не мог сказать мне, кому принадлежал сей замок. «Мы туда не ходим, – говорил он, – и бог знает, что там делается!» – Я удвоил шаги свои и скоро приблизился к большому готическому зданию, окруженному глубоким рвом и высокою стеною. Везде царствовала тишина, вдали шумело море, последний луч вечернего света угасал на медных шпицах башен.

Я обошел вокруг замка – ворота были заперты, мосты подняты. Проводник мой боялся, сам не зная чего, и просил меня идти назад к хижинам, но мог ли любопытный человек уважить такую просьбу?

Наступила ночь, и вдруг раздался голос – эхо повторило его, и опять все умолкло. Мальчик от страха схватил меня обеими руками и дрожал, как преступник в час казни. Через минуту снова раздался голос – спрашивали: «Кто там?» – «Чужеземец, – сказал я, – приведенный любопытством на сей остров, и если гостеприимство почитается добродетелию в стенах вашего замка, то вы укроете странника на темное время ночи». – Ответа не было, но через несколько минут загредел и опустился с верху башни подъемный мост, с шумом отворились ворота – высокий человек, в длинном, черном платье, встретил меня, взял за руку и повел в замок. Я оборотился назад, но мальчик, провожатый мой, скрылся.

Ворота хлопнули за нами, мост загредел и поднялся. Через обширный двор, заросший кустарником, крапивою и полынью, пришли мы к огромному дому, в котором светился огонь. Высокий перистиль в древнем вкусе вел к железному крыльцу, которого ступени звучали под ногами нашими. Везде было мрачно и пусто. В первой зале, окруженной внутри готическою колоннадою, висела лампада и едва-едва изливала бледный свет на ряды позлащенных столов, которые от древности начинали разрушаться; в одном месте лежали части карниза, в другом отломки пиластров, в третьем целые упавшие колонны. Путеводитель мой несколько раз взглядывал на меня пронизательными глазами, но не говорил ни слова.

Все сие сделало в сердце моем странное впечатление, смешанное отчасти с ужасом, отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием или, лучше сказать, с приятным ожиданием чего-то чрезвычайного.

Мы прошли еще через две или три залы, подобные первой и освещенные такими же лампадами. Потом отворилась дверь направо – в углу небольшой комнаты сидел почтенный седовласый старец, облокотившись на стол, где горели две белые восковые свечи. Он поднял голову, взглянул на меня с какою-то печальною ласкою, подал мне слабую свою руку и сказал тихим, приятным голосом:

«Хотя вечная горесть обитает в стенах здешнего замка, но странник, требующий гостеприимства, всегда найдет в нем мирное пристанище. Чужеземец! Я не знаю тебя, но ты человек – в умирающем сердце моем жива еще любовь к людям – мой дом, мои объятия тебе отверсты». – Он обнял, посадил меня и, стараясь развеселить мрачный вид свой, уподоблялся хотя ясному, но хладному осеннему дню, который напоминает более горестную зиму, нежели радостное лето. Ему хотелось быть приветливым – хотелось улыбкою вселить в меня доверенность; печали, углубившиеся на лице его, не могли исчезнуть в одну минуту.

«Ты должен, молодой человек, – сказал он, – ты должен известить меня о происшествиях света, мною оставленного, но еще не совсем забытого. Давно живу я в уединении, давно не

слышу ничего о судьбе людей. Скажи мне, царствует ли любовь на земном шаре? Курится ли фимиам на алтарях добродетели? Благоденствуют ли народы в странах, тобою виденных?» – «Свет наук, – отвечал я, – распространяется более и более, но еще струится на земле кровь человеческая – льются слезы несчастных – хвалят имя добродетели и спорят о существовании ее». – Старец вздохнул и пожал плечами.

Узнав, что я россиянин, сказал он: «Мы исходим от одного народа с вашим. Древние жители островов Рюгена и Борнгольма были славяне. Но вы прежде нас озарились светом христианства. Уже великолепные храмы, единому богу посвященные, возносились к облакам в странах ваших, но мы, во мраке идолопоклонства, приносили кровавые жертвы бесчувственным истуканам. Уже в торжественных гимнах славили вы великого творца вселенной, но мы, ослепленные заблуждением, хвалили в нестройных песнях идолов баснословия». – Старец говорил со мною об истории северных народов, о происшествии древности и новых времен, говорил так, что я должен был удивляться уму его, знаниям и даже красноречию.

Через полчаса он встал и пожелал мне доброй ночи. Слуга в черном платье, взяв со стола одну свечу, повел меня через длинные узкие переходы – имывошли в большую комнату, обвешанную древним оружием, мечами, копьями, латами и шишаками. В углу, под золотым балдахином, стояла высокая кровать, украшенная резьбой и древними барельефами.

Мне хотелось предложить множество вопросов сему человеку, но он, не дожидаясь их, поклонился и ушел; железная дверь хлопнула – звук страшно раздался в пустых стенах – и все утихло. Я лег на постель – смотрел на древнее оружие, освещаемое сквозь маленькое окно слабым лучом месяца, – думал о своем хозяине, о первых словах его: «Здесь обитает вечная горесть», – мечтал о временах прошедших, о тех приключениях, которым сей древний замок бывал свидетелем, – мечтал, подобно такому человеку, который между гробов и могил взирает на прах умерших и оживляет его в своем воображении. – Наконец образ печального гревзендского незнакомца представился душе моей, и я заснул.

Но сон мой не был покоен. Мне казалось, что все латы, висевшие на стене, превратились в рыцарей, что сии рыцари приближались ко мне с обнаженными мечами и с гневным лицом говорили: «Несчастный! Как дерзнул ты пристать к нашему острову? Разве не бледнеют плаватели при виде гранитных берегов его? Как дерзнул ты войти в страшное святилище замка? Разве ужас его не гремит во всех окрестностях? Разве странник не удаляется от грозных его башен? Дерзкий! Умри за сие пагубное любопытство!» – Мечи застучали надо мною, удары сыпались на грудь мою, – но вдруг все скрылось, – я пробудился и через минуту опять заснул. Тут новая мечта возмутила дух мой. Мне казалось, что страшный гром раздавался в замке, железные двери стучали, окна тряслись, пол колебался, и ужасное крылатое чудовище, которое описать не умею, с ревом и свистом летело к моей постели. Сновидение исчезло, но я не мог уже спать, чувствовал нужду в свежем воздухе, приблизился к окну, увидел подле него маленькую дверь, отворил ее и по крутой лестнице сошел в сад.

Ночь была ясная, свет полной луны осребрял темную зелень на древних дубах и вязах, которые составляли густую, длинную аллею. Шум морских волн соединялся с шумом листьев, потрясываемых ветром. Вдали белелись каменные горы, которые, подобно зубчатой стене, окружают остров Борнгольм; между ими и стенами замка виден был с одной стороны большой лес, а с другой – открытая равнина и маленькие рощицы.

Сердце все еще билось у меня от страшных сновидений, и кровь моя не переставала волноваться. Я вступил в темную аллею, под кров шумящих дубов и с некоторым благоговением углублялся во мрак ее. Мысль о друидах возбудилась в душе моей – и мне казалось, что я приближаюсь к тому святилищу, где хранятся все таинства и все ужасы их богослужения. Наконец длинная аллея привела меня к розмаринным кустам, за коими возвышался песчаный холм. Мне хотелось взойти на вершину его, чтобы оттуда при свете ясной луны взглянуть на картину моря и острова, но тут представилось глазам моим отверстие во внутренность холма; человек

с трудом мог войти в него. Непреодолимое любопытство влекло меня в сию пещеру, которая походила более на дело рук человеческих, нежели на произведение дикой природы. Я вошел – почувствовал сырость и холод, но решился идти далее и, сделав шагов десять вперед, рассмотрел несколько ступеней вниз и широкую железную дверь; она, к моему удивлению, была не заперта. Как будто бы невольным образом рука моя отворила ее – тут, за железною решеткою, на которой висел большой замок, горела лампада, привязанная ко своду, а в углу, на соломенной постеле, лежала молодая бледная женщина в черном платье. Она спала; русые волосы, с которыми переплелись желтые соломинки, закрывали высокую грудь ее, едва-едва дышащую; одна рука, белая, но иссохшая, лежала на земле, а на другой покоилась голова спящей. Если бы живописец хотел изобразить томную, бесконечную, всегдашнюю скорбь, осыпанную маковыми цветами Морфея, то сия женщина могла бы служить прекрасным образцом для кисти его.

Друзья мои! Кого не трогает вид несчастного! Но вид молодой женщины, страдающей в подземной темнице, – вид слабейшего и любезнейшего из всех существ, угнетенного судьбою, – мог бы влить чувство в самый камень. Я смотрел на нее с горестию и думал сам в себе: «Какая варварская рука лишила тебя дневного света? Неужели за какое-нибудь тяжкое преступление? Но миловидное лицо твое, но тихое движение груди твоей, но собственное сердце мое уверяют меня в твоей невинности!»

В самую сию минуту она проснулась – взглянула на решетку – увидела меня – изумилась – подняла голову – встала – приблизилась, – потупила глаза в землю, как будто бы собираясь с мыслями, – снова устремила их на меня, хотела говорить и – не начинала.

«Если чувствительность странника, – сказал я через несколько минут молчания, – рукою судьбы приведенного в здешний замок и в эту пещеру, может облегчить твою участь, если искреннее его сострадание заслуживает твою доверенность, требуй его помощи!» – Она смотрела на меня неподвижными глазами, в которых видно было удивление, некоторое любопытство, нерешимость и сомнение. Наконец, после сильного внутреннего движения, которое как будто бы электрическим ударом потрясло грудь ее, отвечала твердым голосом: «Кто бы ты ни был, каким бы случаем ни зашел сюда, – чужеземец, я не могу требовать от тебя ничего, кроме сожаления. Не в твоих силах переменить долю мою. Я лобызаю руку, которая меня наказывает». – «Но сердце твое невинно?» – сказал я, – оно, конечно, не заслуживает такого жестокого наказания?» – «Сердце мое, – отвечала она, – могло быть в заблуждении. Бог простит слабую. Надеюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомец!» – Тут приблизилась она к решетке, взглянула на меня с ласкою и тихим голосом повторила: «Ради бога, оставь меня!.. Если он сам послал тебя – тот, которого страшное проклятие гремит всегда в моем слухе, – скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь, что сердце мое высохло от горести, что слезы не облегчают уже тоски моей. Скажи, что я без ропота, без жалоб сношу заключение, что я умру его нежною, несчастною...» – Она вдруг замолчала, задумалась, удалилась от решетки, стала на колени и закрыла руками лицо свое, через минуту посмотрела на меня, снова потупила глаза в землю и сказала с нежною робостию: «Ты, может быть, знаешь мою историю, но если не знаешь, то не спрашивай меня – ради бога, не спрашивай!.. Чужеземец, прости!» – Я хотел идти, сказав ей несколько слов, излившихся прямо из души моей, но взор мой еще встретился с ее взором – и мне показалось, что она хочет узнать от меня нечто важное для своего сердца. Я остановился – ждал вопроса, но он, после глубокого вздоха, умер на бледных устах ее. Мы расстались.

Вышедши из пещеры, не хотел я затворить железной двери, чтобы свежий, чистый воздух сквозь решетку проник в темницу и облегчил дыхание несчастной. Заря алела на небе, птички пробудились, ветерок свевал росу с кустов и цветочков, которые росли вокруг песчаного холма. – «Боже мой! – думал я. – Боже мой! Как горестно быть исключенным из общества живых, вольных, радостных тварей, которыми везде населены необозримые пространства природы! В самом севере, среди высоких мшистых скал, ужасных для взора, творение руки твоей

прекрасно – творение руки твоей восхищает дух и сердце. И здесь, где пенистые волны от начала мира сражаются с гранитными утесами, – и здесь десница твоя напечатлела живые знаки творческой любви и благодати, и здесь в час утра розы цветут на лазоревом небе, и здесь нежные зефиры дышат ароматами, и здесь зеленые ковры расстилаются, как мягкий бархат, под ногами человека, и здесь поют птички – поют весело для веселого, печально для печального, приятно для всякого, и здесь скорбящее сердце в объятиях чувствительной природы может облегчиться от бремени своих горестей! Но – бедная, заключенная в темнице, не имеет сего утешения: роса утренняя не окропляет ее томного сердца, ветерок не освежает истлевшей груди, лучи солнечные не озаряют помраченных глаз ее, тихие бальзамические излияния луны не питают души ее кроткими сновидениями и приятными мечтами. Творец! Почто даровал ты людям гибельную власть делать несчастными друг друга и самих себя?» – Силы мои ослабели, и глаза закрылись, под ветвями высокого дуба, на мягкой зелени.

Сон мой продолжался около двух часов.

«Дверь была отворена; чужестранец входил в пещеру» – вот что услышал я, проснувшись, – открыл глаза и увидел старца, хозяина своего; он сидел в задумчивости на дерновой лавке, шагах в пяти от меня; подле него стоял тот человек, который ввел меня в замок. Я подошел к ним. Старец взглянул на меня с некоторою суровостью, встал, пожал мою руку – и вид его сделался ласковее. Мы вошли вместе в густую аллею, не говоря ни слова. Казалось, что он в душе своей колебался и был в нерешимости, но вдруг остановился и, устремив на меня проницательный, огненный взор, спросил твердым голосом: «Ты видел ее?» – «Видел, – отвечал я, – видел, не узнав, кто она и за что она страдает в темнице». – «Узнаешь, – сказал он, – узнаешь, молодой человек, и сердце твое обольется кровию. Тогда спросишь у самого себя: за что небо излило всю чашу гнева своего на сего слабого, седого старца, старца, который любил добродетель, который чтит святыне законы его?» – Мы сели под деревом, и старец рассказал мне ужаснейшую историю – историю, которой вы теперь не услышите, друзья мои; она остается до другого времени. На сей раз скажу вам одно то, что я узнал тайну гревзендского незнакомца – тайну страшную! —

Матрозы дожидались меня у ворот замка. Мы возвратились на корабль, подняли парусы, и Борнгольм скрылся от глаз наших.

Море шумело. В горестной задумчивости стоял я на палубе, взявшись рукою за мачту. Вздохи теснили грудь мою – наконец я взглянул на небо – и ветер свеял в море слезу мою.

СИЕРРА-МОРЕНА³⁷

В цветущей Андалузии – там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный Гвадалквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сиерра-Морена,³⁸ – там увидел я прекрасную, когда она в унынии, в горести стояла подле Алонзова памятника, опершись на него лилейною рукою своею; луч утреннего солнца позлащал белую урну и возвышал трогательные прелести нежной Эльвиры; ее русые волосы, рассыпаясь по плечам, падали на черный мрамор.

Эльвира любила юного Алонза, Алонзо любил Эльвиру и скоро надеялся быть супругом ее, но корабль, на котором плыл он из Майорки (где жил отец его), погиб в волнах моря. Сия ужасная весть сразила Эльвиру. Жизнь ее была в опасности... Наконец отчаяние превратилось в тихую скорбь и томность. Она соорудила мраморный памятник любимцу души своей и каждый день орошала его жаркими слезами.

Я смешал слезы мои с ее слезами. Она увидела в глазах моих изображение своей горести, в чувствах сердца моего узнала собственные свои чувства и назвала меня другом. Другом!.. Как сладостно было имя сие в устах любезной! – Я в первый раз поцеловал тогда руку ее.

Эльвира говорила мне о своем незабвенном Алонзе, описывала красоту души его, свою любовь, свои восторги, свое блаженство, потом отчаяние, тоску, горечь и, наконец, – утешение, отраду, находимую сердцем ее в милом дружестве. Тут взор Эльвирина блистал светлее, розы на лице ее оживлялись и пылали, рука ее с горячностью пожимала мою руку.

Увы! В груди моей свирепствовало пламя любви: сердце мое сгорало от чувств своих, кровь кипела – и мне надлежало таить страсть свою!

Я таил оную, таил долго. Язык мой не дерзал именовать того, что питала в себе душа моя: ибо Эльвира клялась не любить никого, кроме своего Алонза, клялась не любить в другой раз. Ужасная клятва! Она заграждала уста мои.

Мы были неразлучны, гуляли вместе на зланных берегах величественного Гвадалквивира, сидели над журчащими его водами, подле горестного Алонзова памятника, в тишине и безмолвии; одни сердца наши говорили. Взор Эльвирина, встречаясь с моим, опускался к земле или обращался на небо. Два вздоха вылетали, соединялись и, мешаясь с зефиром, исчезали в пространствах воздуха. Жар дружеских моих объятий возбуждал иногда трепет в нежной Эльвириной груди – быстрый огонь разливался по лицу прекрасной – я чувствовал скорое биение пульса ее – чувствовал, как она хотела успокоиться, хотела удержать стремление крови своей, хотела говорить... Но слова на устах замирали. – Я мучился и наслаждался.

Часто темная ночь застигала нас в отдаленном уединении. Звучное эхо повторяло шум водопадов, который раздавался между высоких утесов Сиерры-Морены, в ее глубоких расसेлинах и долинах. Сильные ветры волновали и крутили воздух, багряные молнии вились на черном небе или бледная луна над седыми облаками восходила. – Эльвира любила ужасы природы: они возвеличивали, восхищали, питали ее душу.

Я был с нею!.. И радовался ступению ночных мраков. Они сближали сердца наши, они скрывали Эльвиру от всей природы – и я тем живее, тем нераздельнее наслаждался ее присутствием.

Ах! Можно сражаться с сердцем долго и упорно, но кто победит его? – Бурное стремление яростных вод разрывает все оплоты, и каменные горы распадаются от силы огненного вещества, в их недрах заключенного.

³⁷ Впервые – альманах «Аглая», 1795, ч. 2. Под заглавием «Элегический отрывок из бумаг N» указана дата написания – 1793. В последующих публикациях это заглавие было снято.

³⁸ То есть Черная гора.

Сила чувств моих все преодолела, и долго таимая страсть излилась в нежном признании! Я стоял на коленях, и слезы мои текли рекою. Эльвира бледнела – и снова уподоблялась розе. Знаки страха, сомнения, скорби, нежной томности менялись на лице ее!..

Она подала мне руку с умильным взором. «Жестокий! – сказала Эльвира – но сладкий голос ее смягчил всю жестокость сего упрека. – Жестокий! Ты недоволен кроткими чувствами дружбы, ты принуждаешь меня нарушить обет священный и торжественный!.. Пусть же громы небесные поразят клятвopеcтyпницy!.. Я люблю тебя!..» – Огненные поцелуи мои запечата- лели уста ее.

Боже мой!.. Сия минута была счастливейшею в моей жизни!

Эльвира пошла к Алонзову памятнику, стала перед ним на колени и, обнимая белую урну, сказала трогательным голосом: «Тень любезного Алонза! Простишь ли свою Эльвиру?.. Я клялась вечно любить тебя и вечно любить не перестану, образ твой сохранится в моем сердце, всякий день буду украшать цветами твой памятник, слезы мои будут всегда мешаться с утреннею и вечернею росой на сем хладном мраморе! – Но я клялась еще не любить никого, кроме тебя... и люблю!.. Увы! Я надеялась на сердце свое и поздно увидела опасность. Оно тосковало – было одно в пространном мире – искало утешения, – дружба явилась ему в венце невинности и добродетели... Ах!.. Любезная тень! простишь ли свою Эльвиру?»

Любовь моя была красноречива: я успокоил милую, и все облака исчезли в ангельских очах ее.

Эльвира назначила день для нашего вечного соединения, предалась нежным чувствам своим, и я наслаждался небом! – Но гром собирался над нами... Рука моя трепещет!

Все радовалось в Эльвирином замке, все готовилось к брачному торжеству. Ее родственники любили меня – Андалузия долженствовала быть вторым моим отечеством!

Уже розы и лилии на олтаре благоухали, и я приблизился к оному с прелестною Эльви- рою, с восторгом в душе, с сладким трепетом в сердце, уже священник готовился утвердить союз наш своим благословением – как вдруг явился незнакомец, в черной одежде, с бледным лицом, с мрачным видом: кинжал блистал в руке его. «Вероломная! – сказал он Эльвире. – Ты клялась быть вечно моею и забыла свою клятву! Я клялся любить тебя до гроба: умираю... и люблю!..»

Уже кровь лилась из его сердца, он вонзил кинжал в грудь свою и пал мертвый на помост храма.

Эльвира, как громом пораженная, в исступлении, в ужасе воскликнула: «Алонзо! Алонзо!..» – и лишилась памяти. – Все стояли неподвижно. Внезапность страшного явления изумила присутствующих.

Сей бледный незнакомец, сей грозный самоубийца был Алонзо. Корабль, на котором он плыл из Майорки, погиб, но алжирцы извлекли юношу из волн, чтобы оковать его цепями тяжелой неволи. Через год он получил свободу – летел к предмету любви своей, – услышал о замужестве Эльвирином и решился наказать ее... своею смертию.

Я вынес Эльвиру из храма. Она пришла в себя, – но пламя любви навек угасло в очах и сердце ее. «Небо страшно наказало клятвopеcтyпницy, – сказала мне Эльвира, – я убийца Алонзова! Кровь его палит меня. Удались от несчастной! Земля расступилась между нами, и тщетно будешь простирать ко мне руки свои! Бездна разделила нас навеки. Можешь только взорами своими растравлять неизлечимую рану моего сердца. Удались от несчастной!»

Моя горесть, мое отчаяние не могли тронуть ее – Эльвира погребла несчастного Алонза на том месте, где оплакивала некогда мнимую смерть его, и заключилась в строжайшем из женских монастырей. Увы! Она не хотела проститься со мною!.. Не хотела, чтобы я в последний раз обнял ее со всею горячностью любви и видел в глазах ее хотя одно сожаление о моей участи!

Я был в исступлении – искал в себе чувствительного сердца, но сердце, подобно камню, лежало в груди моей – искал слез и не находил их – мертвое, страшное уединение окружало меня.

День и ночь слились для глаз моих в вечный сумрак. Долго не знал я ни сна, ни отдохновения, скитался по тем местам, где бывал вместе – с жестокою и несчастною; хотел найти следы, остатки, части *моей* Эльвиры, впечатления души ее... Но холод и тьма везде меня встречали!

Иногда приближался я к уединенным стенам того монастыря, где заключилась неумолимая Эльвира: там грозные башни возвышались, железные запоры на вратах чернелись, вечное безмолвие обитало, и какой-то унылый голос вещал мне: «Для тебя уже нет Эльвиры!»

Наконец я удалился от Сиерры-Морены – оставил Андалузию, Гишпанию, Европу – видел печальные остатки древней Пальмиры, некогда славной и великолепной, – итам, опершись на развалины, внимал глубокой, красноречивой тишине, царствующей в сем запустении и одними громами прерываемой. Там, в объятиях меланхолии, сердце мое размягчилось – там слеза моя оросила сухое тление – там, помышляя о жизни и смерти народов, живо восчувствовал я суету всего подлунного и сказал самому себе: «Что есть жизнь человеческая? Что бытие наше? Один миг, и все исчезнет! Улыбка счастья и слезы бедствия покроются единою горстию черной земли!» – Сии мысли чудесным образом успокоили мою душу.

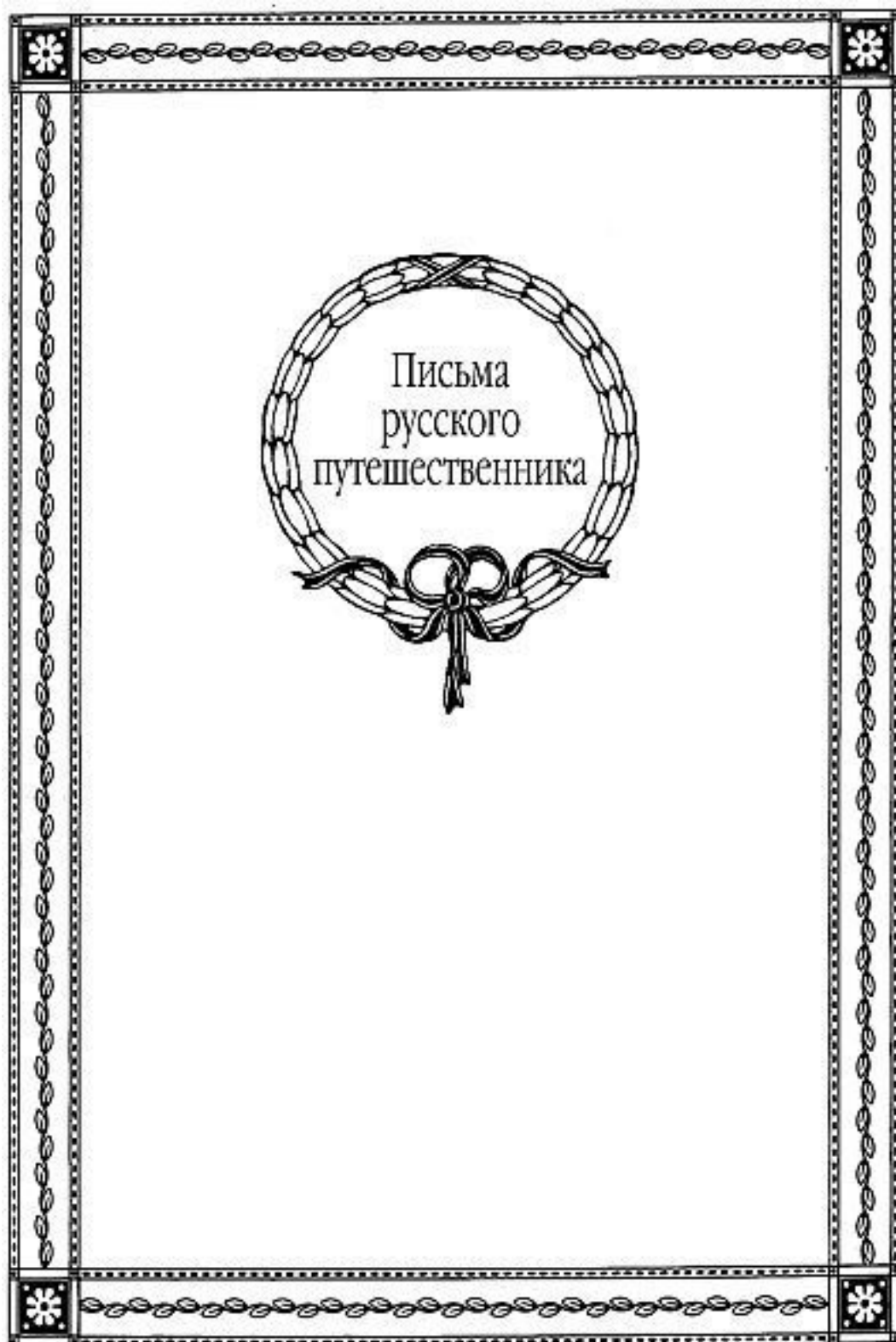
Я возвратился в Европу и был некоторое время игрищем злобы людей, некогда мною любимых; хотел еще видеть Андалузию, Сиерру-Морену и узнал, что Эльвира переселилась уже в обители небесные; пролил слезы на ее могиле и обтер их навеки.

Хладный мир! Я тебя оставил! – Безумные существа, человеками именуемые! Я вас оставил! Свиристуйте в лютых своих исступлениях, терзайте, умерщвляйте друг друга! Сердце мое для вас мертво, и судьба ваша его не трогает.

Живу теперь в стране печального севера, где глаза мои в первый раз озарились лучом солнечным, где величественная натура из недр бесчувствия приняла меня в свои объятия и включила в систему *эфемерного бытия*, – живу в уединении и внимаю бурям.

Тихая ночь – вечный покой – святое безмолвие! К вам, к вам простираю мои объятия!

Письма русского путешественника ^[3]



Я хотел при новом издании многое переменить в сих «Письмах», и... не переменял почти ничего.³⁹ Как они были писаны, как удостоились лестного благоволения публики, пусть так и остаются. Пестрота, неровность в слоге есть следствие различных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного русского путешественника: он рассказывал друзьям своим, что ему приключалось, что он видел, слышал, чувствовал, думал, — и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом. Много неважного, мелочи — соглашаюсь; но если в Ричардсоновых, Фильдинговых романах без скуки читаем мы, например, что Грандисон всякий день пил два раза чай с любезною мисс Бирон; что Том Джонес спал ровно семь часов в таком-то сельском трактире, то для чего же и путешественнику не простить некоторых бездельных подробностей? Человек в дорожном платье, с посохом в руке, с котомкою за плечами не обязан говорить с осторожною разборчивостью какого-нибудь придворного, окруженного такими же придворными, или профессора в шпанском парике, сидящего на больших, ученых креслах.⁴⁰ — А кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведений, тому, вместо сих «Писем», советуя читать Бишингову «Географию».⁴¹

1793

*Тверь, 18 мая 1789*⁴²

Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, аябеспременно от вас удаляюсь и буду удаляться!

О сердце, сердце! Кто знает: чего ты хочешь? — Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения? Не в восторге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли просыпался всякое утро? Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь? Сколько времени не мог ни о чем думать, ничем заниматься, кроме путешествия? Не считал ли дней и часов? Но — когда пришел желаемый день, я стал грустить, вообразив в первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезнейшими для меня людьми в свете и со всем, что, так сказать, входило в состав нравственного бытия моего. На что ни смотрел — на стол, где несколько лет изливались на бумагу незрелые мысли и чувства мои, на окно, под которым сживал я подгорюнившись в припадках своей меланхолии и где так часто заставляло меня восходящее солнце, на готический дом,⁴³ любезный предмет глаз моих в часы ночные, — одним словом, все, что попадалось мне в глаза, было для меня драгоценным памятником прошедших лет моей жизни, не обильной делами, но зато мыслями и чувствами обильной. С вещами бездушными прощался я, как с друзьями; и в самое то время, как был размягчен, растроган, пришли люди мои, начали плакать и просить меня, чтобы я не забыл их и взял опять к себе, когда возвращуся. Слезы заразительны, мои милые, а особливо в таком случае.

Но вы мне всегда любезнее, и с вами надлежало расстаться. Сердце мое так много чувствовало, что я говорить забывал. Но что вам рассказывать! — Минута, в которую мы прощались, была такова, что тысячи приятных минут в будущем едва ли мне за нее заплатят.

³⁹ ...не переменял почти ничего... — Эти слова, как и утверждение, что текст представляет собой подлинные письма друзьям, являются литературной мистификацией: вплоть до последнего издания Карамзин не прекращал работы над «Письмами».

⁴⁰ ...сидящего на больших ученых креслах... — В XVIII в. профессора читали лекции, сидя в кресле на высоких ножках, которое водружалось на кафедре.

⁴¹ ...советую читать Бишингову «Географию». — Ср. скрытую цитату: «Читай Бишинга — от скуки» (Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1. М.—Л., 1938, с. 33).

⁴² ...Тверь, 18 мая 1789. — До переезда границы Карамзин указывает даты по старому стилю, в пограничной области дает двойные даты, а затем переходит на европейскую датировку. Разница между русским и европейским календарем XVIII в. — одиннадцать суток.

⁴³ Готический дом — так называлась «Меншикова башня» в Москве у Мясницких (ныне Кировских) ворот, построенная архитектором И. П. Зарудным, вид на которую открывался из окон «Дружеского ученого общества», или «енгалычского дома» — масонского «общества», в котором жил Карамзин в Москве в 1786–1789 гг. Готический — здесь: старинный.

Милый Птрв.⁴⁴ провожал меня до заставы. Там обнялись мы с ним, и еще в первый раз видел я слезы его; там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось для меня столько любезного, и сказал: *прости!* Колокольчик зазвенел, лошади помчались... и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей!

Все прошедшее есть сон и тень: ах! где, где часы, в которые так хорошо бывало сердцу моему посреди вас, милые? – Если бы человеку, самому благополучному, вдруг открылось будущее, то замерло бы сердце его от ужаса и язык его онемел бы в самую ту минуту, в которую он думал назвать себя счастливейшим из смертных!..

Во всю дорогу не приходило мне в голову ни одной радостной мысли; а на последней станции к Твери грусть моя так усилилась, что я в деревенском трактире, стоя перед карикатурами королевы французской и римского императора,^[4] хотел бы, как говорит Шекспир, выплакать сердце свое.⁴⁵ Тамто все оставленное мною явилось мне в таком трогательном виде. – Но полно, полно! Мне опять становится чрезмерно грустно. – Простите! Дай бог вам утешений. – Помните друга, но без всякого горестного чувства!

С.-Петербург, 26 мая 1789

Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час поеду в Ригу.

В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д*,⁴⁶ нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек⁴⁷ открыл мне свое сердце: оно чувствительно – он несчастлив!.. «Состояние мое совсем твоему противоположно, – сказал он со вздохом, – главное твое желание исполняется: ты едешь наслаждаться, веселиться; а я поеду искать смерти,⁴⁸ которая одна может окончить мое страдание». Я не смел утешать его и довольствовался одним сердечным участием в его горести. «Но не думай, мой друг, – сказал я ему, – чтобы ты видел перед собою человека, довольного своею судьбою; приобретаю одно, лишаясь другого и жалею». – Оба мы вместе от всего сердца жаловались на несчастный жребий человечества или молчали. По вечерам прохаживались в Летнем саду и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал. До обеда бывал я на бирже, чтобы видетсья с знакомым своим англичанином, через которого надлежало мне получить вексели. Там, смотря на корабли, я вздумал было ехать водою, в Данциг, в Штетин или в Любек, чтобы скорее быть в Германии. Англичанин мне то же советовал и сыскал капитана, который через несколько дней хотел плыть в Штетин. Дело, казалось, было с концом; однако ж вышло не так. Надлежало объявить мой паспорт в адмиралтействе; но там не хотели надписать его, потому что он дан из московского, а не из петербургского губернского правления и что в нем не сказано, как я поеду; то есть не сказано, что поеду морем. Возражения мои не имели успеха – я не знал порядка, и мне оставалось ехать сухим путем или взять другой паспорт в Петербурге. Я решился на первое; взял подорожную – и лошади готовы. Итак, простите, любезные друзья! Когда-то будет мне веселее! А до сей минуты все грустно. Простите!

Рига, 31 мая 1789

Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу и остановился в «Hôtel de Pétersbourg». Дорога меня измучила. Не довольно было сердечной грусти, которой причина вам известна:

⁴⁴ ...Птрв. – А. А. Петров.

⁴⁵ ...выплакать сердце свое... – Слова Кассия из трагедии «Юлий Цезарь» (д. IV, сц. 3). В 1787 г. трагедия эта была издана в Москве в переводе Карамзина.

⁴⁶ Д* – Александр Иванович Дмитриев. В 1789 г. А. И. Дмитриев переживал душевную депрессию (см.: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 14).

⁴⁷ Его уже нет в здешнем свете.

⁴⁸ ...Поеду искать смерти... – В 1790 г. шла война со Швецией, на которую отправлялся Дмитриев как подполковник Суздальского мушкетерского полка.

надлежало еще идти сильным дождям; надлежало, чтобы я вздумал, к несчастью, ехать из Петербурга *на перекладных* и нигде не находил хороших кибиток. Все меня сердило. Везде, казалось, брали с меня лишнее; на каждой перемене держали слишком долго. Но нигде не было мне так горько, как в Нарве. Я приехал туда весь мокрый, весь в грязи; насилу мог найти купить две рогожи, чтобы сколько-нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них по крайней мере как за две кожи. Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось: кибитка упала в грязь, и я с нею. Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, а бедный ваш друг остался на сильном дожде. Этого еще мало: пришел какой-то полицейский и начал шуметь, что кибитка моя стояла среди дороги. «Спрячь ее в карман!» – сказал я с притворным равнодушием и завернулся в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! Все приятные мысли о путешествии затмились в душе моей. О, если бы мне можно было тогда перенестись к вам, друзья мои! Внутренно проклинал я то беспокойство сердца человеческого, которое влечет нас от предмета к предмету, от верных удовольствий к неверным, как скоро первые уже не новы, – которое настраивает к мечтам наше воображение и заставляет нас искать радостей в неизвестности будущего!

Есть всему предел; волна, ударившись о берег, назад возвращается или, поднявшись высоко, опять вниз упадает – и в самый тот миг, как сердце мое стало полно, явился хорошо одетый мальчик, лет тринадцати, и с милою, сердечною улыбкою сказал мне по-немецки: «У вас изломалась кибитка? Жаль, очень жаль! Пожалуйста к нам – вот наш дом – батюшка и матушка приказали вас просить к себе». – «Благодарю вас, государь мой! Только мне нельзя отойти от своей кибитки; к тому же я одет слишком по-дорожному и весь мокр». – «К кибитке приставим мы человека; а на платье дорожных кто смотрит? Пожалуйста, сударь, пожалуйста!» Тут улыбнулся он так убедительно, что я должен был стряхнуть воду с шляпы своей – разумеется, для того, чтобы с ним идти. Мы взялись за руки и побежали бегом в большой каменный дом, где в зале первого этажа нашел я многочисленную семью, сидящую вокруг стола; хозяйка разливала чай и кофе. Меня приняли так ласково, потчевали так сердечно, что я забыл все свое горе. Хозяин, пожилой человек, у которого добродушие на лице написано, с видом искреннего участия расспрашивал меня о моем путешествии. Молодой человек, племянник его, недавно возвратившийся из Германии, сказывал мне, как удобнее ехать из Риги в Кенигсберг. Я пробыл у них около часа. Между тем привезли ось, и все было готово. «Нет, еще постойте!» – сказали мне, и хозяйка принесла на блюде три хлеба. «Наш хлеб, говорят, хорош: возьмите его». – «Бог с вами! – примолвил хозяин, пожав мою руку, – бог с вами!» Я сквозь слезы благодарил его и желал, чтобы он и впредь своим гостеприимством утешал печальных странников, расставшихся с милыми друзьями. – Гостеприимство, священная добродетель, обыкновенная во дни юности рода человеческого и столь редкая во дни наши! Если я когда-нибудь тебя забуду, то пусть забудут меня друзья мои! Пусть вечно буду на земле странником и нигде не найду второго Крамера!⁴⁹ Простился со всею любезною семьей, сел в кибитку и поскакал, обрадованный находкой добрых людей! —

Почта от Нарвы до Риги называется немецкою, для того что комиссары на станциях немцы. Почтовые дома везде одинакие – низенькие, деревянные, разделенные на две половины: одна для проезжих, а в другой живет сам комиссар, у которого можно найти все нужное для утоления голода и жажды. Станции маленькие; есть по двенадцати и десяти верст. Вместо ямщиков ездят отставные солдаты, из которых иные помнят Миниха; рассказывая сказки, забывают они погонять лошадей, и для того приехал я сюда из Петербурга не прежде как в пятый день. На одной станции за Дерптом надлежало мне ночевать: г. З.,^[5] едущий из Италии, забрал всех лошадей. Я с полчаса говорил с ним и нашел в нем любезного человека. Он настраивал меня песчаными прусскими дорогами и советовал лучше ехать через Польшу и Вену;

⁴⁹ Один из моих приятелей, будучи в Нарве, читал Крамеру сие письмо – он был доволен – я еще больше!

однако ж мне не хочется переменить своего плана. Пожелав ему счастливого пути, бросился я на постелю; но не мог заснуть до самого того времени, как чухонец пришел мне сказать, что кибитка для меня впряжена.

Я не приметил никакой разницы между эстляндцами и лифляндцами, кроме языка и кафтанов: одни носят черные, а другие серые. Языки их сходны;⁵⁰ имеют в себе мало собственного, много немецких и даже несколько славянских слов. Я заметил, что они все немецкие слова смягчают в произношении;⁵¹ из чего можно заключить, что слух их нежен; но, видя их непроворство, неловкость и недогадливость, всякий должен думать, что они, просто сказать, глуповаты. Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на их леность и называют их сонливыми людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что они очень много работают, и мужик в Лифляндии или в Эстляндии приносит господину вчетверо более нашего казанского или симбирского.

Сии бедные люди, *работающие господам со страхом и трепетом*⁵² во все будничные дни, зато уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма немного по их календарю. Дорога усеяна корчмами, и все они в проезд мой были наполнены гуляющим народом – праздновали троицу.

Мужики и господа лютеранского исповедания. Церкви их подобны нашим, кроме того, что наверху стоит не крест, а петух, который должен напоминать о падении апостола Петра.⁵³ Проповеди говорятся на их языке;⁵⁴ однако ж пасторы все знают по-немецки.

Что принадлежит до местоположений, то в этой стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет ни больших гор, ни пространных долин. – Напрасно будешь искать и таких деревень, как у нас. В одном месте видишь два двора, в другом три, четыре и церковь. Избы больше наших и разделены обыкновенно на две половины: в одной живут люди, а другая служит хлебом. – Те, которые едут не на почтовых, должны останавливаться в корчмах. Впрочем, я почти совсем не видал проезжих: так пуста эта дорога в нынешнее время.

О городах говорить много нечего, потому что я в них не останавливался. В Ямбурге, маленьком городке, известном по своим суконным фабрикам, есть изрядное каменное строение. Немецкая часть Нарвы, или, собственно, так называемая Нарва, состоит по большей части из каменных домов; другая, отделяемая рекою, называется Иван-город. В первой всё на немецкую статью, а в другой всё на русскую. Тут была прежде наша граница – о, Петр, Петр!

⁵⁰ *Языки их сходны...* – Лифляндия включала в себя Южную Эстонию с г. Тарту (Дерптом), к Эстляндской губернии принадлежала лишь Северная Эстония. Говоря о языке эстляндцев и лифляндцев, Карамзин с большим лингвистическим чутьем сопоставил североэстонский (таллинский) и южноэстонский (тартуский) диалекты, которые в конце XVIII в. существовали как равноправные, претендуя на то, чтобы сделаться основой литературного письменного языка. Указание, что языки эти «имеют в себе... много немецких и даже несколько славянских слов», свидетельствует, что Карамзина интересовала в первую очередь абстрактная, а не бытовая лексика.

⁵¹ *...они все немецкие слова смягчают в произношении...* — Карамзин проявляет хорошую осведомленность в фонетике эстонского языка, в частности имея в виду отсутствие в нем шипящих и замену их в заимствованных словах свистящими. В сознании Карамзина это могло ассоциироваться с «нежным» произношением парижских петиметров и русских щеголей, также заменявших в своей речи «грубые» шипящие «мягкими» свистящими звуками. Источником сведений Карамзина об эстонском языке мог быть брат Якоба Ленца (см. ниже), дерптский пастор, бывший также лингвистом и первым преподавателем эстонского языка в Дерптском университете.

⁵² *...работающие господам со страхом и трепетом...* – неточная цитата из псалтыри (2, 11). Карамзин недвусмысленно выразил здесь отрицательное отношение к крепостническим порядкам в Прибалтике. Такое же отношение было свойственно А. Р. Воронцову и Радищеву (см. его «Памятник дактило-хореическому витязю»). Посещение Карамзиным в Петербурге перед началом путешествия А. Р. Воронцова представляется весьма вероятным.

⁵³ *...напоминать о падении апостола Петра...* – Согласно евангелию, апостол Петр в ночь ареста Христа трижды от него отрекся, а когда пропел петух, вспомнил, что падение было ему заранее предсказано Учителем, и заплакал от раскаяния.

⁵⁴ *Проповеди говорятся на их языке...* – Для формирования лингвистической позиции Карамзина и его отношения к церковно-славянскому языку характерно внимание писателя к тому, что лютеранские пасторы в Прибалтике проповедуют на том же языке, на котором говорит народ.

Когда открылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и веселилось. Мужчины и женщины ходили по городу обнявшись, и в окрестных рощах мелькали гуляющие четы. *Что город, то норы; что деревня, то обычай.* – Здесь-то живет брат несчастного Л*.⁵⁵ Он главный пастор, всеми любим и доход имеет очень хороший. Помнит ли он брата? Я говорил об нем с одним лифляндским дворянином, любезным, пылким человеком. «Ах, государь мой! – сказал он мне, – самое то, что одного прославляет и счастливит, делает другого злополучным. Кто, читая поэму шестнадцатилетнего Л*⁵⁶ и все то, что он писал до двадцати пяти лет, не увидит *утренней зари великого духа*? Кто не подумает: вот юный Клопшток, юный Шекспир? Но тучи помрачили эту прекрасную зарю и солнце никогда не воссияло. *Глубокая* чувствительность, без которой Клопшток не был бы Клопштоком и Шекспир Шекспиром, погубила его. Другие обстоятельства, и Л* бессмертен!» —

Лишь только въедешь в Ригу, увидишь, что это торговый город, – много лавок, много народа – река покрыта кораблями и судами разных наций – биржа полна. Везде слышишь немецкий язык – где-где русский, – и везде требуют не рублей, а талеров. Город не очень красив; улицы узки – но много каменного строения, и есть хорошие дома.

В трактире, где я остановился, хозяин очень услужлив: сам носил паспорт мой в правление и в благочиние⁵⁷ и сыскал мне извозчика, который за тринадцать червонцев нанялся довезти меня до Кенигсберга, вместе с одним французским купцом, который нанял у него в свою коляску четырех лошадей; а я поеду в кибитке. – Илью отправлю⁵⁸ отсюда прямо в Москву.

Милые друзья! Всегда, всегда о вас думаю, когда могу думать. Я еще не выехал из России, но давно уже в чужих краях, потому что давно с вами расстался.

Курляндская корчма, 1 июня 1789

Еще не успел я окончить письма к вам, любезнейшие друзья, как лошади были впряжены и трактирщик пришел сказать мне, что через полчаса запрут городские ворота. Надобно было дописать письмо, расплатиться, укласть чемодан и приказать кое-что Илье. Хозяин воспользовался моим недосугом и подал мне самый аптекарский счет;⁵⁹ то есть за одне сутки он взял с меня около девяти рублей!

Удивляюсь еще, как я в таких торопях ничего не забыл в трактире. Наконец все было готово и мы выехали из ворот. Тут простился я с добродушным Ильею – он к вам поехал, милые! – Начало смеркаться. Вечер был тих и прохладен. Я заснул крепким сном молодого путешественника и не чувствовал, как прошла ночь. Восходящее солнце разбудило меня лучами своими; мы приближались к заставе, маленькому домику с рогаткою. Парижский купец пошел со мною к майору, который принял меня учтиво и после осмотра велел нас пропустить. Мы въехали в Курляндию – и мысль, что я уже вне отечества,⁶⁰ производила в душе моей уди-

⁵⁵ Ленца, немецкого автора, который несколько времени жил со мною в одном доме. Глубокая меланхолия, следствие многих несчастий, свела его с ума; но в самом сумасшествии он удивлял нас иногда своими пиитическими идеями, а всего чаще трогал добродушием и терпением.

⁵⁶ ...поэму шестнадцатилетнего Л... – «Народные бедствия, стихотворение в 6 частях». Л. – Якоб Ленц – «бурный гений», друг Гете и Шиллера, жил последние двенадцать лет в Москве, был близок к кружку Новикова – Кутузова и оказал большое влияние на литературные вкусы Карамзина; сошел с ума и умер в крайней нищете. Осведомленность Карамзина в раннем, мало кому известном творчестве Ленца говорит о большой степени близости. Ленц в 1770 г. написал восторженное стихотворение в честь Канта. Решение Карамзина начать свое путешествие с посещения Канта – возможное свидетельство того, что планы путешествия обсуждались в Москве не только с масонскими наставниками, с одной стороны, и дружеским кругом Плещеевых – с другой, но и с Ленцем.

⁵⁷ *Благочиние* – разговорное название управы благочиния, то есть полицейского управления.

⁵⁸ *Илью отправлю...* – Крепостные слуги сопровождали господ, как правило, до границы, после чего нанимались «вольные». Право собственности русского дворянина на своего крепостного в Европе автоматически уничтожалось.

⁵⁹ Аптекарский счет – счет, в котором оплата ведется на унции; здесь: мелочный, скрупулезный счет.

⁶⁰ ...вне отечества... – Курляндия входила в XVIII в. в Российскую империю не как губерния, а в качестве полусамосто-

вительное действие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки, милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид сего города некрасив, но для меня привлекателен! «Вот первый иностранный город», – думал я, и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового. На берегу реки Аа, через которую мы переехали на плоту, стоит дворец герцога курляндского, не малый дом, впрочем, по своей наружности весьма не великолепный. Стекла почти везде выбиты или вынуты; и видно, что внутри комнат переделывают. Герцог живет в летнем замке, недалеко от Митавы. Берег реки покрыт лесом, которым сам герцог исключительно торгует и который составляет для него немалый доход. Стоявшие на карауле солдаты казались инвалидами. Что принадлежит до города, то он велик, но нехорош. Дома почти все маленькие и довольно неопрятны; улицы узки и худо вымощены; садов и пустырей много.

Мы остановились в трактире, который считается лучшим в городе. Тотчас окружили нас жида с разными безделками. Один предлагал трубку, другой – старый лютеранский молитвенник и Готшедову «Грамматику»,⁶¹ третий – зрительное стекло, и каждый хотел продать товар свой таким добрым господам за самую сходную цену. Француженка, едущая с парижским купцом, женщина лет в сорок пять, стала оправлять свои седые волосы перед зеркалом, и мы с купцом, заказав обед, пошли ходить по городу – видели, как молодой офицер учил старых солдат, и слышали, как пожилая курносая немка в чепчике бранилась с пьяным мужем своим, сапожником!

Возвратясь, обедали мы с добрым аппетитом и после обеда имели время выпить кофе, чаю и поговорить довольно. Я узнал от спутника своего, что он родом италиянец, но в самых молодых летах оставил свое отечество и торгует в Париже; много путешествовал и в Россию приезжал отчасти по своим делам, а отчасти для того, чтобы узнать всю жестокость зимы; и теперь возвращается опять в Париж, где намерен навсегда остаться. – За все вместе заплатили мы в трактире по рублю с человека.

Выехав из Митавы, увидел я приятнейшие места. Сия земля гораздо лучше Лифляндии, которую не жаль проехать зажмурясь. Нам попались немецкие извозчики из Либав и Пруссии. Станные экипажи! Длинные фуры цугом; лошади пребольшие, и висящие на них погремущки производят несносный для ушей шум.

Отъехав пять миль, остановились мы ночевать в корчме.

Двор хорошо покрыт; комнаты довольно чисты, и в каждой готова постель для путешественников.

Вечер приятен. В нескольких шагах от корчмы течет чистая река. Берег покрыт мягкой зеленою травою и осенен в иных местах густыми деревьями. Я отказался от ужина, вышел на берег и вспомнил один московский вечер, в который, гуляя с Пт.⁶² под Андроньевым монастырем, с отменным удовольствием смотрели мы на заходящее солнце. Думал ли я тогда, что ровно через год буду наслаждаться приятностями вечера в курляндской корчме? Еще другая мысль пришла мне в голову. Некогда начал было я писать роман⁶³ и хотел в воображении объездить точно те земли, в которые теперь еду. В мысленном путешествии, выехав из России, остановился я ночевать в корчме: и в действительном то же случилось. Но в романе писал я, что вечер был самый ненастный, что дождь не оставил на мне сухой нитки и что в корчме надлежало мне сушиться перед камином; а на деле вечер выдался самый тихий и ясный. Сей первый ночлег был несчастлив для романа; боясь, чтобы ненастное время не продолжилось и

ятельного герцогства со столицей в Митаве (теперь Елгава).

⁶¹ ...Готшедову «Грамматику»... – «Основания грамматического искусства немецкого языка» И. Х. Готшета (1700–1766).

⁶² ...гуляя с Пт... – с А. А. Петровым.

⁶³ Некогда начал было я писать роман... – Следов этого замысла не сохранилось.

не беспокоило меня в моем путешествии, сжег я его в печи, в благословенном своем жилище на Чистых Прудах. – Я лег на траве под деревом, вынул из кармана записную книжку, чернилицу и перо и написал то, что вы теперь читали.

Между тем вышли на берег два немца, которые в особливой кибитке едут с нами до Кенигсберга; легли подле меня на траве, закурили трубки и от скуки начали бранить русский народ. Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги? «Нет», – отвечали они. «А когда так, государи мои, – сказал я, – то вы не можете судить о русских, побывав только в пограничном городе». Они не рассудили за благо спорить, но долго не хотели признать меня русским, воображая, что мы не умеем говорить иностранными языками. Разговор продолжался. Один из них сказал мне, что он имел счастье быть в Голландии и скопил там много полезных знаний. «Кто хочет узнать свет, – говорил он, – тому надобно ехать в Роттердам. Там-то живут славно, и все гуляют на шлюпках! Нигде не увидишь того, что там увидишь. Поверьте мне, государь мой, в Роттердаме я сделался человеком!» – «Хорош гусь!» – думал я – и пожелал им доброго вечера.

Поланга, 3/14 июня 1789

Наконец, проехав Курляндию более двухсот верст, въехали мы в польские границы и остановились ночевать в богатой корчме. В день переезда обыкновенно десять миль, или верст семьдесят. В корчмах находили мы по сие время, что пить и есть: суп, жареное с салатом, яйца; и за это платили не более как копеек по двадцати с человека. Есть везде кофе и чай; правда, что все не очень хорошо. – Дорога довольно пуста. Кроме извозчиков, которые нам раза три попадались, и старомодных берлинов, в которых дворяне курляндские ездят друг к другу в гости, не встречались никакие проезжие. Впрочем, дорога не скучна: везде видишь плодородную землю, луга, рощи; там и сям маленькие деревеньки или врозь рассеянные крестьянские домики.

С французским италиянцем мы ладим. К француженке у меня не лежит сердце, для того что ее физиономия и ухватки мне не нравятся. Впрочем, можно ее похвалить за опрятность. Лишь только остановимся, извозчик наш Гаврила, которого она зовет Габриелем, должен нести за нею в горницу уборный ларчик ее, и по крайней мере час она помадится, пудрится, притирается, так что всегда надобно ее дожидаться к обеду. Долго советовались мы, сажать ли с собою за стол немцев. Мне поручено было узнать их состояние. Открылось, что они купцы. Все сомнения исчезли, и с того времени они с нами обедают; а как италиянец с француженкой не понимают по-немецки, а они – по-французски, то я должен служить им переводчиком. Немец, который в Роттердаме стал человеком, уверял меня, что он прежде совершенно знал французский язык и забыл его весьма недавно; а чтобы еще более уверить в этом меня и товарища своего, то при всяком поклоне француженке говорит он: «Оплише, матам! Obligé, Madame!»⁶⁴

На польской границе осмотр был не строгий. Я дал приставам копеек сорок: после чего они только заглянули в мой чемодан, веря, что у меня нет ничего нового.

Море от корчмы не далее двухсот сажен. Я около часа сидел на берегу и смотрел на пространство волнующихся вод. Вид величественный и унылый! Напрасно глаза мои искали корабля или лодки! Рыбак не смел показаться на море; порывистый ветер опрокинул бы челн его. – Завтра будем обедать в Мемеле, откуда отправлю к вам это письмо, друзья мои!

Мемель, 15 июня 1789

Я ожидал, что при въезде в Пруссию на самой границе нас остановят; однако ж этого не случилось. Мы приехали в Мемель в одиннадцатом часу, остановились в трактире – и дали несколько грошей осмотрщикам, чтобы они не перерывали наших вещей.

⁶⁴ Ваш покорный слуга! (фр.) – Ред.

Город невелик; есть каменные строения, но мало порядочных. Цитадель очень крепка; однако ж наши русские умели взять ее в 57 году.⁶⁵

Мемель можно назвать хорошим торговым городом. Курляндский гаф, на котором он лежит, очень глубок. Пристань наполнена разными судами, которые грузят по большей части пенькою и лесом для отправления в Англию и Голландию.

Из Мемеля в Кенигсберг три пути; по берегу гафа считается до Кенигсберга 18 миль, а через Тильзит – 30: большая розница! Но извозчики всегда почти избирают сей последний путь, жалея своих лошадей, которых весьма утомляют ужасные пески набережной дороги. Все они берут здесь билеты, платя за каждую лошадь и за каждую милю до Кенигсберга. Наш Габриель заплатил три талера, сказав, что он поедет берегом. Мы же в самом деле едем через Тильзит; но русский человек смекнул, что за 30 миль взяли бы с него более, нежели за 18! Третий путь водою через гаф самый кратчайший в хорошую погоду, так что в семь часов можно быть в Кенигсберге. Немцы наши, которые наняли извозчика только до Мемеля, едут водою, что им обоим будет стоить только два червонца. Габриель уговаривал и нас с италянцем – с которым обыкновенно говорит он или знаками, или через меня – ехать с ними же, что было бы для него весьма выгодно, но мы предпочли покойное и верное беспокойному и неверному, а в случае бури и опасному.

За обедом ели мы живую, вкусную рыбу, которою Мемель изобилует; а как нам сказали, что прусские корчмы очень бедны, то мы запаслись здесь хорошим хлебом и вином.

Теперь, милые друзья, время отнести письмо на почту; у нас лошадей впрягают.

Что принадлежит до моего сердца... благодаря судьбе! оно стало повеселее. То думаю о вас, моих милых, – но не с такою уже горестию, как прежде, – то даю волю глазам своим бродить по лугам и полям, ничего не думая; то воображаю себе будущее, и почти всегда в приятных видах. – Простите! Будьте здоровы, спокойны и воображайте себе странствующего друга вашего *рыцарем веселого образа!*⁶⁶ —

Корчма в миле за Тильзитом, 17 июня 1789, 11 часов ночи

Все вокруг меня спит. Я и сам было лег на постелю; но, около часа напрасно ожидав сна, решился встать, засветить свечу и написать несколько строк к вам, друзья мои!

Я рад, что из Мемеля не согласился ехать водою. Места, через которые мы проезжали, очень приятны. То обширные поля с прекрасным хлебом, то зеленые луга, то маленькие рощицы и кусты, как будто бы в искусственной симметрии расположенные, представлялись глазам нашим. Маленькие деревеньки вдаль составляли также приятный вид. «Qu'il est beau, ce pays-ci»,⁶⁷ – твердили мы с италянцем.

Вообще, кажется, земля в Пруссии еще лучше обработана, нежели в Курляндии, и в хорошие годы во всей здешней стороне хлеб бывает очень дешев; но в прошедший год урожай был так худ, что правительству надлежало довольствовать народ хлебом из заведенных магазинов. Пять, шесть лет хлеб родится хорошо; в седьмой год – худо, и поселянину есть нечего – оттого, что он всегда излишне надеется на будущее лето, не представляя себе ни засухи, ни града, и продает все сверх необходимого. – Тильзит есть весьма изрядно выстроенный городок и лежит среди самых плодоноснейших долин на реке Мемеле. Он производит знатный торг хлебом и лесом, отправляя все водою в Кенигсберг.

Нас остановили у городских ворот, где стояли на карауле не солдаты, а граждане, для того что полки, составляющие здешний гарнизон, не возвратились еще со смотру. Толстый часовой,

⁶⁵ ...*взять ее в 57 году*. – Мемель был взят русскими войсками под командованием генерала Фермера 18 июня 1757 г. во время войны с Пруссией.

⁶⁶ ...*рыцарем веселого образа*... – по контрасту с рыцарем печального образа, Дон Кихотом.

⁶⁷ Какая красивая местность! (фр.) – Ред.

у которого под брюхом моталась маленькая шпажонка, подняв на плечо изломанное и веревками связанное ружье, с гордым видом сделал три шага вперед и престрашным голосом закричал мне: «Wer sind Sie? Кто вы?» Будучи занят рассматриванием его необыкновенной физиогномии и фигуры, не мог я тотчас отвечать ему. Он надулся, искривил глаза и закричал еще страшнейшим голосом: «Wer seid ihr?»⁶⁸ – гораздо уже неучтивее!⁶⁹ Несколько раз надлежало мне сказывать свою фамилию, и при всяком разе шатал он головою, дивясь чудному русскому имени. С италианцем история была еще длиннее. Напрасно отзывался он незнанием немецкого языка: толстобрюхий часовой непременно хотел, чтоб он отвечал на все его вопросы, вероятно с великим трудом наизусть вытверженные. Наконец я был призван в помощь, и насилу добились мы до того, чтобы нас пропустили. – В городе показывали мне башню, в разных местах простреленную русскими ядрами.

В прусских корчмах не находим мы ни мяса, ни хорошего хлеба. Француженка делает нам *des oeufs au lait*, или русскую яичницу, которая с молочным супом и салатом составляет наш обед и ужин. Зато мы с италианцем пьем в день чашек по десяти кофе, которое везде находили.

Лишь только расположились мы в корчме, где теперь ночуем, услышали лошадиный топот, и через полминуты вошел человек в темном фраке, в пребольшой шляпе и с длинным хлыстом; подошел к столу, взглянул на нас, – на француженку, занятую вечерним туалетом; на италианца, рассматривавшего мою дорожную ландкарту, и на меня, пившего чай, – скинул шляпу, пожелал нам доброго вечера и, оборотясь к хозяйке, которая лишь только показала лоб из другой горницы, сказал: «Здравствуй, Лиза! Как поживаешь?»

Лиза (*сухая женищина лет в тридцать*). А, господин поручик! Добро пожаловать! Откуда? Откуда?

Поручик. Из города, Лиза. Барон фон М* писал ко мне, что у них комедианты. «Приезжай, брат, приезжай! Шалуны повеселят нас за наши гроши!» Черт меня возьми!

Если бы я знал, что за твари эти комедианты, ни из чего бы не поехал.

Лиза. И, ваше благородие! Разве вы не жалуете комедии?

Поручик. О! Ялюблю все, что забавно, и переплатил в жизнь свою довольно полновесных талеров за доктора Фауста с Гансом Вурстом.^[6]

Лиза. Ганс Вурст очень смешон, сказывают. – А что играли комедианты, господин поручик?

Поручик. Комедию, в которой не было ничего смешного. Иной кричал, другой кривлялся, третий таращил глаза, а путного ничего не вышло.

Лиза. Много было в комедии, господин поручик?

Поручик. Разве мало дураков в Тильзите?

Лиза. Господин бургомистр с сожительницею изволил ли быть там?

Поручик. Разве он из последних? Толстобрюхий дурак зевал, а чванная супруга его беспрестанно терла глаза платком, как будто бы попал в них табак, и толкала его под бок, чтобы он не заснул и перестал пялить рот.

Лиза. То-то насмешник!

Поручик (*сидясь и кладя свою шляпу на стол подле моего чайника*). Um Vergebung, mein Herr! Простите, государь мой! – Я устал, Лиза. Дай мне кружку пива. Слышишь ли?

Лиза. Тотчас, господин поручик.

Поручик (*вошедшему слуге своему*). Каспар! Набей мне трубку. (*Оборотясь к француженке*.) Осмелюсь спросить с моим почтением, жалуете ли вы табак?

⁶⁸ Кто вы такие? (нем.) – Ред.

⁶⁹ «*Wer seid ihr?*» имеет то же значение, что и «*Wer sind Sie?*», но звучало в языке XVIII в. значительно более фамильярно. Грубость обращения Карамзин подчеркнул тем, что написал «*ihr*», вопреки правилам, со строчной буквы, жертвуя грамматикой ради передачи интонации.

Французженка. Monsieur! – Qu'est ce qu'il demande, Mr. Nicolas?⁷⁰ (Так она меня называет.)

Я. S'il peut fumer.⁷¹ – Курите, курите, господин поручик. Я вам за нее отвечаю.

Французженка. Dites qu'oui.⁷²

Поручик. А! Мадам не говорит по-немецки. Жалею, весьма жалею, мадам. – Откуда едете, если смею спросить, государь мой?

Я. Из Петербурга, господин поручик.

Поручик. Радуюсь, радуюсь, государь мой. Что слышно о шведах, о турках?⁷³

Я. Старая песня, господин поручик; и те и другие бегают от русских.

Поручик. Черт меня возьми! Русские стоят крепко. – Скажу вам по приязни, государь мой, что если бы король мой не отговорил мне, то давно бы я был не последним штаб-офицером в русской службе. У меня везде не без друзей. Например, племянник мой служит старшим адъютантом у князя Потемкина. Он ко мне обо всем пишет. Постойте – я покажу вам письмо его. Черт меня возьми! Я забыл его дома. Он описывает мне взятие Очакова. Пятнадцать тысяч легло на месте, государь мой, пятнадцать тысяч!

Я. Неправда, господин поручик.

Поручик. Неправда? (С насмешкою.) Вы, конечно, сами там были?

Я. Хоть и не был, однако ж знаю, что турков убито около 8000, а русских 1500.

Поручик. О! Я не люблю спорить, государь мой; а что знаю, то знаю. (Принимаясь за кружку, которую между тем принесла ему хозяйка.) Разумеете ли, государь мой?

Я. Как вам угодно, господин поручик.

Поручик. Ваше здоровье, государь мой! – Ваше здоровье, мадам! – (Итальянцу.) Ваше здоровье! – Пиво изрядно, Лиза. – Послушайте, государь мой! – Теперь вы называете меня господином поручиком: для чего?

Я. Для того, что хозяйка вас так называет.

Поручик. Скажите: оттого, что я (надев шляпу) поклонился моему королю – и безвременно пошел в отставку. А то теперь говорили бы вы мне (приподняв шляпу): «Господин майор, здравствуйте!» (Допивая кружку.) Разумеете ли? Черт меня возьми, если я не по уши влюбился в свою Анюту! Правда, что она была как розовая пышка. И теперь еще не худа, государь мой, даром что уже четверых принесла мне. – Лиза! скажи, какова моя Анюта?

Лиза. И, господин поручик! Как будто вы сами этого не знаете! Чего говорить, что пригожа! – Скажу вам смех, господин поручик. Как вы на святой неделе вечером проехали в город, ночевал у меня молодой господин из Кенигсберга – правду сказать, барин добрый и заплатил мне честно за всякую безделку. Кушать он много не спрашивал.

Поручик. Нугде же смех, Лиза?

Лиза. Так этот добрый господин стоял на крыльце и увидел госпожу поручицу, которая сидела в коляске на правой стороне, – так ли, господин поручик.

Поручик. Ну что же он сказал?

Лиза. «То-то баба!» – сказал он. Ха! ха! ха!

Поручик. Видно, он неглуп был. Ха! ха! ха!

Я. Итак, любовь заставила вас идти в отставку, господин поручик?

Поручик. Проклятая любовь, государь мой. – Каспар, трубку! – Правда, я надеялся на хорошее приданое. Мне сказали, что у старика фон Т* золотые горы. «Девка добра, – думал я, – дай, женимся!» Старик рад был выдать за меня дочь свою: только она никак не хотела идти за

⁷⁰ О чем он спрашивает, мосье Никола? (фр.) – Ред.

⁷¹ Можно ли ему курить. (фр.) – Ред.

⁷² Скажите, что можно (фр.). – Ред.

⁷³ Что слышно о шведах, о турках? – В 1789 г. Россия воевала с Турцией и Швецией.

служивого. «Мамзель Анюта! – сказал я. – Люблю тебя как душу; только люблю и службу королевскую». На миленьких ее глазенках навернулись слезы. Я топнул ногою и – пошел в отставку. Что же вышло! На другой день после свадьбы любезный мой тестюшка вместо золотых гор наградил меня тремя сотнями талеров. Вот тебе приданое! – Делать было нечего, государь мой. Я поговорил с ним крупно, а после за бутылкою старого рейнского вина заключил вечный мир. Правду сказать, старик был добросердечен – помяни бог его душу! Мы жили дружно. Он умер на руках моих и оставил нам в наследство дворянский дом.

Но перерыв разговор, который занял уже с лишком две страницы и начинает утомлять серебряное перо мое.⁷⁴ Словоохотный поручик до десяти часов наговорил с три короба, которых я, жалея Габриелевых лошадей, не возьму с собою. Между прочим, услышав, что я из Кенигсберга поеду в публичной коляске, советовал мне: 1) занять место в середине и 2) если будут со мной дамы, потчевать их всю дорогу чаем и кофе. В заключение желал, чтобы я путешествовал с пользою, так, как известный барон Тренк, с которым он будто бы очень дружен. – Господин поручик, всунув свою трубку в сапог, сел на коня и пустился во всю прыть, закричав мне: «Счастливейший путь, государь мой!»

Чего не напишешь в минуты бессонницы! – Простите до Кенигсберга! —

Кенигсберг, июня 19, 1789

Вчера в семь часов утра приехал я сюда, любезные друзья мои, и стал вместе с своим спутником в трактире у Шенка.

Кенигсберг, столица Пруссии, есть один из больших городов в Европе, будучи в окружности около пятнадцати верст. Некогда был он в числе славных ганзейских городов. И ныне коммерция его довольно важна. Река Прегель, на которой он лежит, хотя не шире 150 или 160 футов, однако ж так глубока, что большие купеческие суда могут ходить по ней. Домов считается около 4000, а жителей 40 000 – как мало по величине города! Но теперь он кажется многолюдным потому что множество людей собралось сюда на ярманку, которая начнется с завтрашнего дня. Я видел довольно хороших домов, но не видал таких огромных, как в Москве или в Петербурге, хотя вообще Кенигсберг выстроен едва ли не лучше Москвы.

Здесь гарнизон так многочислен, что везде попадаются в глаза мундиры. Не скажу, чтобы прусские солдаты были одеты лучше наших; а особливо не нравятся мне их двуугольные шляпы. Что принадлежит до офицеров, то они очень опрятны, а жалованья получают, исключая капитанов, малым чем более наших. Я слышал, будто в прусской службе нет таких молодых офицеров, как у нас; однако ж видел здесь по крайней мере десять пятнадцатилетних. Мундиры синие, голубые и зеленые с красными, белыми и оранжевыми отворотами.

Вчера обедал я за общим столом, где было старых майоров, толстых капитанов, осанистых поручиков, безбородых подпоручиков и прапорщиков человек с тридцать. Содержанием громких разговоров был прошедший смотр. Офицерские шутки также со всех сторон сыпались. Например: «Что за причина, господин ритмейстер, что у вас ныне и днем окна закрыты? Конечно, вы не письмом занимаетесь? Ха! ха! ха!» – «То-то, фон Кребс! Все знает, что у меня делается!» – и проч. и проч. Однако ж они учтивы. Лишь только наша француженка показалась, все встали и за обедом служили ей с великим усердием. – Как бы то ни было, только в другой раз рассудил я за благо обедать один в своей комнате, растворив окна в сад, откуда лились в мой немецкий суп ароматические испарения сочной зелени.

Вчера же после обеда был я у славного Канта, глубокомысленного, тонкого метафизика, который опровергает и Малебранша и Лейбница, и Юма и Боннета, – Канта, которого иудейский Сократ, покойный Мендельзон, иначе не называл, как *der alles zermalmende Kant*, то есть все сокрушающий Кант. Я не имел к нему писем, но смелость города берет, – и мне отво-

⁷⁴ Все свои замечания писал я в дороге серебряным пером.

рились двери в кабинет его. Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: «Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъяснить мое почтение Канту». Он тотчас попросил меня сесть, говоря: «Я писал такое, что не может нравиться всем; не многие любят метафизические тонкости». С полчаса говорили мы о разных вещах: о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим и географическим знаниям, которые, казалось, могли бы одни загромоздить магазин человеческой памяти; но это у него, как немцы говорят, *дело постороннее*.⁷⁵ Потом я, не без скачка, обратил разговор на природу и нравственность человека;⁷⁶ и вот что мог удержать в памяти из его рассуждений:

«Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым и стремится всегда к приобретениям. Смерть застает нас на пути к чему-нибудь, что мы еще иметь хотим. Дай человеку все, чего желает, но он в ту же минуту почувствует, что это все не есть все. Не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я утешаюсь тем, что мне уже шестьдесят лет и что скоро придет конец жизни моей, ибо надеюсь вступить в другую, лучшую. Помышляя о тех услаждениях, которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия, но, представляя себе те случаи, где действовал сообразно с *законом нравственным*, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о *нравственном законе*: назовем его совестью, чувством добра и зла – но они есть. Я солгал, никто не знает лжи моей, но мне стыдно. – Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни; но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, *глазами увидели ее*? Если бы она нам очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынешнею жизнью и были в беспрестанном томлении; а в противном случае не имели бы утешения сказать себе в горестях здешней жизни: *авось там будет лучше!* – Но, говоря о нашем определении, о жизни будущей и проч., предполагаем уже бытие Всевечного Творческого разума, все для чего-нибудь, и все благо творящего. Что? Как?.. Но здесь первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во тьме сей и творить несобытное». – Почтенный муж! Прости, если в сих строках обезобразил я мысли твои!

Он знает Лафатера⁷⁶ и переписывался с ним. «Лафатер весьма любезен по доброте своего сердца, – говорит он, – но, имея чрезмерно живое воображение, часто ослепляется мечтами, верит магнетизму⁷⁷ и проч.» – Коснулись до его неприятелей. «Вы их узнаете, – сказал он, – и увидите, что они все добрые люди».

Он записал мне титулы двух своих сочинений, которых я не читал: «*Kritik der praktischen Vernunft*» и «*Metaphysik der Sitten*»,⁷⁷ – и сию записку буду хранить как священный памятник.

Вписав в свою карманную книжку мое имя, пожелал он, чтобы решились все мои сомнения; потом мы с ним расстались.

Вот вам, друзья мои, краткое описание весьма любопытной для меня беседы, которая продолжалась около трех часов. – Кант говорит скоро, весьма тихо и невразумительно; и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Домик у него маленький, и внутри приборов немного. Все просто, кроме... его метафизики.

⁷⁵ ...*дело постороннее*. – Карамзин выделил это выражение курсивом как неологизм (калька с нем. – *Nebensache*), в современном значении – второстепенное.

⁷⁶ Он знает Лафатера... – Критике физиогномического учения Лафатера Кант посвятил несколько строк в «Антропологии», назвав его «дешевым товаром» (см.: Кант И. Соч. в 6-ти т., т. 6. М., 1966, с. 546).

⁷⁷ «Критика практического разума» и «Метафизика нравов» (нем.) – Ред.

Здесь кафедра огромна. С великим примечанием рассматривал я там древнее оружие, латы и шишак благочестивейшего из маркграфов бранденбургских и храбрейшего из рыцарей своего времени. «Где вы, – думал я, – где вы, мрачные веки, веки варварства и героизма? Бледные тени ваши ужасают робкое просвещение наших дней. Одни сыны вдохновения дерзают вызывать их из бездн минувшего – подобно Улиссу, зовущему тени друзей из мрачных жилищ смерти, – чтобы в унылых песнях своих сохранять память чудесного изменения народов». – Я мечтал около часа, прислонясь к столбу. – На стене изображена маркграфова беременная супруга, которая, забывая свое состояние, бросается на колени и с сердечным усердием молит небо о сохранении жизни героя, идущего побеждать врагов. Жаль, что здесь искусство не соответствует трогательности предмета! – Там же видно множество разноцветных знамен, трофеев маркграфовых.

Француз, наемный лакей, провожавший меня, уверял, что оттуда есть подземный ход за город, в старую церковь, до которой будет около двух миль, и показывал мне маленькую дверь с лестницею, которая ведет под землю. Правда ли это или нет, не знаю: но знаю то, что в средние века на всякий случай прокапывали такие ходы, чтобы сохранять богатство и жизнь от руки сильного.

Вчера ввечеру простился я с своим товарищем, господином Ф*, которого приязни не забуду никогда. Не знаю, как ему, а мне грустно было с ним расставаться. Он с француженкой поехал в Берлин, где, может быть, еще увижу его.

Ныне был я у нашего консула, господина И*,⁷⁸ который принял меня ласково. Он рассказывал мне много кое-чего, что я с удовольствием слушал; и хотя уже давно живет в немецком городе и весьма хорошо говорит по-немецки, однако же нимало не *обгерманился* и сохранил в целости русский характер. Он дал мне письмо к почтмейстеру, в котором просил его отвести мне лучшее место в почтовой коляске.

Вчера судьба познакомила меня с одним молодым французом, который называет себя искусным зубным лекарем. Узнав, что в трактир к Шенку приехали иностранцы, ему сказали – французы, – явился он к господину Ф* с ношею комплиментов. Я тут был – и так мы познакомились. «В Париже есть мне равные в искусстве, – сказал он, – для того не хотел я там остаться, поехал в Берлин, перелечил, перечистил немецкие зубы; но я имел дело с великими скрягами, и для того – уехал из Берлина. Теперь еду в Варшаву. Польские господа, слышно, умеют ценить достоинства и таланты: попробуем, полечим, почистим! А там отправлюсь в Москву – в ваше отечество, государь мой, где, конечно, найду умных людей более нежели где-нибудь». – Ныне, когда я только что управился с своим обедом, пришел он ко мне с бумагами и, сказав, что узнает людей с первого взгляду и что имеет уже ко мне полную доверенность, начал читать мне... трактат о зубной болезни.

Между тем как он читал, наемный лакей пришел сказать мне, что в другом трактире, обо двор, остановился русский курьер, капитан гвардии. «Allons le voir!»⁷⁹ – сказал француз, спрятав в кармане свой трактат. Мы пошли вместе – и вместо капитана нашел я вахмистра конной гвардии, господина ***, молодого любезного человека, который едет в Копенгаген. Он еще в первый раз послан курьером и не знает по-немецки, чему прусские офицеры, окружившие нас на крыльце, весьма дивились. В самом деле, неудобно ездить по чужим землям, зная только один французский язык, которым не все говорят. – В то время как мы разговаривали, один из стоявших на крыльце получил письмо из Берлина, в котором пишут к нему, что близ сей столицы разбили почту, зарезали постиллиона и отняли несколько тысяч талеров: неприятная весть для тех, которые туда едут! – Я пожелал земляку своему счастливого пути.

⁷⁸ И* – Иван Исаков, русский консул в Кенигсберге в 1789 г.

⁷⁹ Пойдемте к нему! (фр.) – Ред.

В старинном замке, или во дворце, построенном на возвышении, осматривают путешественники цейхгауз и библиотеку, в которой вы найдете несколько фолиантов и кварталтов, окованных серебром. Там же есть так называемая *Московская зала*, длиною во 166 шагов, а шириною в 30, которой свод сведен без столбов и где показывают старинный осьмиугольный стол, ценою в 40 000 талеров. Для чего сия зала называется Московской, не мог узнать. Один сказал, будто для того, что тут некогда сидели русские пленники; но это не очень вероятно.

Здесь есть изрядные сады, где можно с удовольствием прогуливаться. В больших городах весьма нужны народные гульбища. Ремесленник, художник, ученый отдыхает на чистом воздухе по окончании своей работы, не имея нужды идти за город. К тому же испарения садов освежают и чистят воздух, который в больших городах всегда бывает наполнен гнилыми частицами.

Ярманка начинается. Все наряжаются в лучшее свое платье, и толпа за толпою встречается на улицах. Гостей принимают на крыльце, где подают чай и кофе.

Я уже отправил свой чемодан на почту. Едущие в публичной коляске могут иметь шестьдесят фунтов без платы; у меня менее шестидесяти.

Adieu!⁸⁰ Земляк мой Габриель, который, говоря его словами, не нашел еще работы, пришел сказать мне, что почтовая коляска скоро будет готова.

Я вас люблю так же, друзья мои, как и прежде; но разлука не так уже для меня горестна. Начинаю наслаждаться путешествием. Иногда, думая о вас, вздохну; но легкий ветерок струит воду, не возмущая светлости ее. Таково сердце человеческое; в сию минуту благодарю судьбу за то, что оно таково. – Будьте только благополучны, друзья мои, и никогда обо мне не беспокойтесь! В Берлине надеюсь получить от вас письмо.

Мариенбург, 21 июня ночью

Прусская так называемая почтовая коляска совсем не похожа на коляску. Она есть не что иное, как длинная покрытая фура с двумя лавками, без ремней⁸¹ и без рессор. Я выбрал себе место на передней лавке. У меня было двое товарищей, капитан и подпоручик, которые сели назади на чемоданах. Я думал, что мое место выгоднее; но последствие доказало, что выбор их был лучше моего. Слуга капитанский и так называемый ширмейстер, или проводник, сели к нам же в коляску на другой лавке. Печальные мысли, которыми голова моя наполнилась при готическом виде нашего экипажа, скоро рассеялись. В городе видел я везде приятную картину праздника – везде веселящихся людей; офицеры мои были весьма учтивы, и разговор, начавшийся между нами, довольно занимал меня. Мы говорили о турецкой и шведской войне, и капитан от доброго сердца хвалил храбрость наших солдат, которые, по его мнению, *едва ли хуже прусских*. Он рассказывал анекдоты последней войны, которые все относились к чести прусских воинов. Ему крайне хотелось, чтобы королю мир наскучил. «Пора снова драться, – говорил он, – солдаты наши пролежали бока; нам нужна экзерциция, экзерциция!» Мирлюбивое мое сердце оскорбилось. Я вооружился против войны всем своим красноречием, описывая ужасы ее: стон, вопль несчастных жертв, кровавою рекою на тот свет уносимых; опустошение земель, тоску отцов и матерей, жен и детей, друзей и сродников; сиротство муз, которые скрываются во мрак, подобно как в бурное время бедные малиновки и синички по кустам прячутся, и проч. Немилостивый мой капитан смеялся и кричал: «Нам нужна экзерциция, экзерциция!» Наконец я приметил, что взялся за работу Данаид; замолчал и обратил все свое вни-

⁸⁰ Прощайте! (фр.) – Ред.

⁸¹ ...без ремней... – В XVIII в. стальные рессоры в колясках считались дорогостоящим новшеством; чаще карета подвешивалась на ремнях, которые крепились к выступам ходовой части.

мание на приятные окрестности дороги. Постиллион наш не жалел лошадей; и таким образом неприметно доехали мы до перемены, где только что имели время отужинать на скорую руку.

Ночь была приятна. Я несколько раз засыпал, но ненадолго, и почувствовал выгоду, которую имели мои товарищи. Они могли лежать на чемоданах, а мне надлежало дремать сидя. На рассвете приехали мы на другую станцию. Чтобы сколько-нибудь ободриться после беспокойной ночи, выпили мы с капитаном чашек по пяти кофе – что в самом деле меня оживило.

Места пошли совсем не приятные, а дорога худая. Гейлигенбейль, маленький городок в семи милях от Кенигсберга, приводит на мысль времена язычества. Тут возвышался некогда величественный дуб, безмолвный свидетель рождения и смерти многих веков, – дуб, священный для древних обитателей сей земли. Под мрачною его тенью обожали они идола Курхо, приносили ему жертвы и славили его в диких своих гимнах. Вечное мерцание сего естественного храма и шум листьев наполняли сердце ужасом, в который жрецы язычества облакали богопочитание. Так друиды в густоте лесов скрывали свою религию; так глас греческих оракулов исходил из глубины мрака! – Немецкие рыцари в третьем-надесять веке, покорив мечом Пруссию, разрушили олтари язычества и на их развалинах воздвигнули храм христианства. Гордый дуб, почтенный старец в царстве растений, претывание бурь и вихрей, пал под сокрушительною рукою победителей, уничтожавших все памятники идолопоклонства: жертва невинная! – Суеверное предание говорит, что долгое время не могли срубить дуба; что все топоры отскакивали от толстой коры его, как от жесткого алмаза; но что наконец сыскался один топор, который разрушил очарование, отделив дерево от корня; и что в память победительной секиры назвали сие место Heiligenbeil, то есть *секира святых*. Ныне эта *секира святых* славится каким-то отменным пивом и белым хлебом.

Браунсберг, где мы обедали и в третий раз переменили лошадей, есть довольно многолюдный городок.

«Здесь жил и умер Коперник», – сказал мне капитан, когда мы проезжали через одно маленькое местечко. – «Итак, это Фрауенберг?» – «Точно».

Как же досадно было мне, что я не мог видеть тех комнат, в которых жил сей славный математик и астроном и где он, по своим наблюдениям и вычислениям, определил движение Земли вокруг ее оси и Солнца – Земли, которая, по мнению его предшественников, стояла неподвижно в центре планет и которую после Тихо де Браге хотел было опять остановить, но тщетно! – И таким образом Пифагоровы идеи, над которыми смеялись греки, верившие своим чувствам более, нежели философу, воскресли в системе Николая Коперника! – Сей астроном был счастливее Галилея: суеверие – хотя он жил еще под его скипетром – не заставило его клятвенно отрицаться от учения истины. Коперник умер спокойно в своем мирном жилище, но Тихо де Браге должен был оставить свой философский замок и отечество. Науки, подобно религии, имели своих страдальцев. —

Перед вечером приехали мы в Эльбинг, небольшой, но торговый город, и весьма изрядно выстроенный, где стоят два или три полка. Почте надлежало тут пробывать более часа. Мы пошли в трактир, где, кроме хозяина и гостей, все было довольно чисто. Выехав из Кенигсберга, еще не видал я порядочно одетого человека. Двое играли в бильярд: один – в зеленом кафтане, диком камзоле и в сальном парике, человек лет за сорок, а другой – молодой человек в пестром кургузом фраке; первый играл очень худо и сердился; а другой хотел над ним шутить, смеялся во все горло при каждом его промахе, поглядывал на нас и в зеркало и оправлял беспрестанно свой толстый запачканный галстук. Карикатура за карикатурою приходила в трактир, и всякая карикатура требовала пива и трубки. Мне было очень скучно. К тому же я чувствовал сильное волнение в крови от кофе и от тряского движения почтовой коляски.

Вышедши садиться, нашли мы у коляски молодого офицера и старую женщину, которые рекомендовались в нашу благосклонность и объявили, что едут с нами. Таким образом, стало нам гораздо теснее. Офицеры мои рады были новому товарищу, с которым могли они говорить

о прошедшем смотре. Женщина, родом из Шведской Померании, услышав, что я русский, подняла руки к небу и закричала: «Ах, злодеи! Вы губите нашего бедного короля!» Офицеры смеялись, и я смеялся, хотя не совсем от доброго сердца.

Между тем прекрасный вечер настроил душу мою к приятным впечатлениям. На обеих сторонах дороги расстилались богатые луга; воздух был свеж и чист; многочисленные стада блеянием и ревом своим праздновали захождение солнца. Крестьянки доили коров, вдыхая в себя целебный пар молока, которое составляет богатство всех тамошних деревень. Жители принадлежат, если не ошибаюсь, к секте перекрестителей,⁸² Wiedertäufer. Хвалят их нравы, миролюбие и честность. Рука их не подымается на ближнего. «Кровь человеческая, – говорят они, – вопиет на небо». – Тишина наступившей ночи сомкнула глаза мои.

Теперь мы в Мариенбурге, где я имел время написать к вам столько страниц. Сей город достоин примечания только тем, что древний его замок был некогда столицею великих мастеров Немецкого ордена. – От старой женщины, моей неприятельницы, мы здесь освободились; но место ее займет высокий офицер, который теперь сидит подле меня, дожидаясь отправления почты. – Рассветало. Простите! Из Данцига надеюсь еще что-нибудь приписать.

Данциг, 22 июня 1789

Проехав через предместье Данцига, остановились мы в прусском местечке Штоценберге, лежащем на высокой горе сего имени. Данциг у нас под ногами, как на блюдечке, так что можно считать кровли. Сей прекрасно выстроенный город, море, гавань, корабли в пристани и другие, рассеянные по волнующемуся, необозримому пространству вод, – все сие вместе образует такую картину, любезнейшие друзья мои, какой я еще не видывал в жизни своей и на которую смотрел два часа в безмолвии, в глубокой тишине, в сладостном забвении самого себя.

Но блеск сего города померк с некоторого времени. Торговля, любящая свободу, более и более сжимается и упадает от теснящей руки сильного. Подобно как монахи строжайшего ордена, встретясь друг с другом в унылой мрачности своих жилищ, вместо всякого приветствия умирающим голосом произносят: «Помни смерть!», так жители сего города в глубоком унынии взывают друг ко другу: «Данциг! Данциг! Где твоя слава?» – Король прусский наложил чрезмерную пошлину на все товары, отправляемые отсюда в море, от которого Данциг лежит верстах в пяти или шести.

Шотландцы, которые присылают сюда сельди свои, пользовались в Данциге всеми правами гражданства, для того что некогда шотландец Доглас оказал городу важную услугу. Те из жителей, с которыми я говорил, не могли мне сказать, в чем именно состояла услуга Догласова. Такой знак благодарности делает честь сему городу.

Я не знал, что почта пробудет здесь так долго, а то бы успел осмотреть в Данциге некоторые примечания достойные вещи. Теперь уже поздно: хотят впрягать лошадей. Более всего хотелось бы мне видеть славную Эйхелеву картину⁸³ в главной лютеранской церкви, представляющую Страшный суд. Король французский – не знаю который – давал за нее сто тысяч гульденов. – Хотелось бы мне видеть и профессора Тренделенбурга, чтобы поблагодарить его за греческую грамматику, им сочиненную, которою я пользовался и впредь надеюсь пользоваться.⁸⁴ – Огромнейшее здание в городе есть ратуша. Вообще все дома в пять этажей. Отменная чистота стекол украшает вид их.

Данциг имеет собственные деньги, которые, однако ж, вне города не ходят; и в самом городе прусские предпочитают.

⁸² ...к секте перекрестителей... – то есть анабаптистов.

⁸³ ...видеть славную Эйхелеву картину... – Имеется в виду «Страшный суд» Х. Мемлинга, в XVIII в. приписывавшийся А. Ван Дейку.

⁸⁴ Автор начинал тогда учиться греческому языку; но после уже не имел времени думать о нем.

На западе от Данцига возвышаются три песчаные горы, которых верхи гораздо выше городских башен; одна из сих гор есть Штоценберг. В случае осады неприятельские батареи могут оттуда разрушить город. На горе Гагелсберге был некогда разбойничий замок; эхо ужаса его далеко отзывалось в окрестностях. Там показывают могилу русских, убитых в 1734 году, когда граф Миних штурмовал город. Осажденные знали, с которой стороны будет приступ, почему гарнизон и жители обратили туда все силы свои и дрались как отчаянные. Известно, что город держал сторону Станислава Лещинского против Августа III, за которого вступилась Россия. Наконец Данциг покорился.

Товарищи мои офицеры хотели осмотреть городские укрепления, но часовые не пустили их и грозили выстрелом. Они посмеялись над излишнею строгостью и возвратились назад. Солдаты по большей части старые и одеты неопрятно. Магистрат поручает комендантское место обыкновенно какому-нибудь иностранному генералу с большим жалованьем.

Первая станция от Данцига

В Данциге присоединились к нам офицер, молодой французский купец и магистер. Для них и для капитанского слуги ширмейстер взял там открытую фуру. Офицер сел к нам в коляску, где оставалось еще одно место, которое хотел занять магистер; но француз поднял крик, доказывая свое старшинство, и ширмейстер решил дело в его пользу, узнав, что он в самом деле записался на почте ранее. Магистер крайне упрашивал нас, чтобы мы как-нибудь потеснились и дали ему место в коляске, представляя ученым образом, что ему с ширмейстером и слугою будет скучно; но он *проповедовал глухим ушам*, как говорят немцы. Француз, по дорожному очень хорошо одетый, в торжестве сел на лавке между двух офицеров, с насмешкою жалея, что бедного магистера вымочит дождь, который накрапывал. Новый наш товарищ, офицер, желая сидеть просторнее, взглядывал на него очень косо и начал его жать. Француз весьма учтиво объявил, что ему становится *тесновато*. «Тем хуже для вас», – отвечал ему офицер с сердцем; закурил трубку и начал пускать ему в нос и в рот дымные облака. Француз чихал, кашлял и наконец спросил, *что бы это значило?* – «То, чтобы вы убрались в фуру к магистру». – «Государь мой!» – сказал француз с гордым видом. – «Государь мой!» – отвечал офицер с досадою. – Вам говорят, чтобы вы убрались от нас». – Француз с важностью уверял, что имеет равное с ним право сидеть в коляске; но офицер, худой юрист, начал сыпать на него пепел с огнем, говоря, что Везувий за дымом выбрасывает пламя. Еще мало: он уткнул ему в бок эфес своей сабли. Бедный француз, видя, что терпением не отделаться, сквозь слезы просил офицера оставить его в покое до первой перемены, обещаясь пересест там в фуру. Старые мои товарищи, насмеявшись досыта, сжалились над мучеником и уговорили своего собрата, чтобы он удовольствовался его обещанием. И я смеялся, однако ж искренно жалел о французе, хотя он тотчас забыл все и стал весел.

Теперь переменяют лошадей и готовят нам легкий ужин.

Выехав из Данцига, смотрел я на море, которое синелось на правой стороне. Более не попадалось в глаза ничего занимательного, кроме пространного данцигского гульбища, где было очень мало людей, для того что небо покрывалось со всех сторон тучами. В середине идет большая дорога, а по сторонам в аллеях прогуливаются.

Офицеры сговорились было атаковать магистера; но он довольно искусно отразил первые приступы, так что они наконец оставили его. Он едет в Италию рассматривать древности. Многие восточные языки, по его словам, ему известны. Он показывал мне письмо графа ***, который прислал ему экземпляр Аль-Корана,⁸⁵ напечатанного в Петербурге. Мы друг с другом гораздо согласнее, нежели с офицерами.⁸⁶

⁸⁵ *Аль-Коран*. – Имеется в виду первое в России издание корана на арабском языке (СПб., 1787).

⁸⁶ После читал я о магистре Ринге в прибавлении к «Йенским литературным ведомостям». Он известен в Германии по

Штолпе, 24 июня

Путешественники говорят всегда с великим неудовольствием о грубости прусских постиллионов. Нынешний король издал указ, по которому все почтмейстеры обязаны иметь более уважения к проезжим и не держать никого более часа на переменах, а постиллионам запрещаются все самовольные остановки на дороге. Нахальство сих последних было несносно. У всякой корчмы они останавливались пить пиво, и несчастные путешественники должны были терпеть или выманивать их деньгами. Указ имел хорошие следствия, однако ж не во всей точности исполняется. Например, не доезжая за милю до Штолпе, мы принуждены были с час дожидаться постиллионов, которые спокойно пили и ели в корчме, несмотря на позывы с нашей стороны. Приехав в город, все мои товарищи грудью приступили к почтмейстеру и требовали, чтобы он наказал их. – «Выговором?» – спросил почтмейстер. – «Палкою», – отвечали офицеры. – «Я не имею права бить их». – «Вздор! вздор!» – сказал капитан. – Или я сам со всеми управлюсь!» – Тут он страшным образом стукнул в пол своею тростью. «Насилие! насилие!» – закричал почтмейстер. – Хотят драться, бить меня!» – Капитан вдруг переменил тон и сказал тихо: «Я не хочу драться, а в Берлине поговорю о вас с министром». Сказал и вышел вон, а за ним и все. Постиллионы, как будто бы ничего не зная, пришли к нам просить на вино. Их выгнали – дверь затворилась и опять потихоньку стала отворяться – все туда оборотили глаза и увидели почтмейстерову голову. «Что вам угодно?» – спросил капитан суровым голосом. Тут почтмейстер всунул к нам в горницу все свое туловище, начал шаркать и кланяться капитану, и называть его господином капитаном, и уверять его, что он имеет к нему почтение, и знает майора его полка, и знает его фамилию, и знает, что он прав, и отдает ему в полную власть тех постиллионов, которые повезут нас из Штолпе, и проч., и проч. – Капитан смягчился, улыбнулся и отвечал на все: «Хорошо, хорошо, господин почтмейстер!» – Мы с магистером также улыбались, а офицеры говорили тихонько: «Дурак! Трус!» —

Теперь не могу вам сказать ничего примечания достойного, кроме того, что в местечке Лупове, где мы обедали, есть прекрасные форели и прекрасный бишоф. Итак, если вы, друзья мои, будете когда в Лупове, то вспомните, что друг ваш там обедал, – вспомните и велите подать себе форелей и бишофу.

Здесь остается тот офицер, который мучил француза; итак, сей последний сядет с нами. – Adieu!

Штаргард, 26 июня

О Штаргарде, куда мы приехали ужинать, могу вам сказать единственно то, что он есть изрядный город и что здешняя церковь Марии считается высочайшею в Германии.

Мы проехали через Кеслин и Керлин, два маленькие городка. В первом бросается в глаза большое четверугольное место⁸⁷ со статуею Фридриха Вильгельма. «Ты достоин сей почести!» – думал я, читая надпись. Не знаю, кого справедливее можно назвать *великим*, отца или сына, хотя последнего все без разбора *величают*. Здесь должно смотреть только на дела их, полезные для государства, – не на ученость, не на острые слова, не на авторство. Кто привлек в свое государство множество чужестранцев? Кто обогатил его мануфактурами, фабриками, искусствами? Кто населил Пруссию? Кто всегда отходил от войны? Кто отказывался от всех излишностей, для того чтобы его подданные не терпели недостатка в нужном? Фридрих Вильгельм! – Но Кеслин будет для меня памятен не только по его монументу: там миловидная трактирщица угостила нас хорошим обедом! Неблагодарен путешественник, забывающий такие обеды, таких добрых, ласковых трактирщиц! По крайней мере я не забуду тебя, миловидная

своей учености.

⁸⁷ Место – здесь: площадь.

немка! Вспомнив статую Фридриха Вильгельма, вспомню и любезное твое угощение, приятные взоры, приятные слова твои!..

«Что, будет ли у нас война, господа офицеры?» – спросил у моих товарищей старик, трактирщик в Керлине. «Не думаю», – отвечал капитан. «Дай бог, чтобы и не было! – сказал трактирщик. – Я боюсь не австрийских гусаров, а русских казаков. О! Что это за люди!» – «А почему ты их знаешь?» – спросил капитан. «Почему? Разве они не были в Керлине? Ничто не уйдет от их пики. К тому же у них такие страшные лица, что меня по коже подирает, когда вообразу их!» – «Да вот русский казак!» – сказал капитан, указав на меня. «Русский казак!» – закричал трактирщик и ударился затылком в стену. Мы все смеялись, а трактирщик заохал. «За эту шутку вы заплатите мне дороже, господа!» – сказал он, взяв кофейник из рук служанки.

Я видел один из древних разбойничьих замков. Он лежит на возвышении и обведен со всех сторон широкими рвами, которые прежде были наполнены водою. Тут в высоком тереме сидели мать и дочь за пядями и поглядывали в окно, когда муж и отец, как голодный лев, рыскал по лесам и полям, ища добычи. «Едет! Едет!» – кричали они, и мосты гремели и опускались – гремели и опять подымались – и грабитель был безопасен в объятиях своей жены и дочери. Тут раскладывались похищенные богатства, и женщины от радости ахали. Тут несчастные путешественники, которые в тот день попались в руки злодею, заключались в подземную темницу, в двадцать семь сажен глубиною, где густой воздух спирался и тяготил дыхание и где гром цепей был им первым приветствием. Иногда бедный отец прибегал к сим широким рвам и, смотря на сии острые башни, восклицал: «Отдайте мне сына и возьмите все, что имею! Несчастная мать день и ночь крушится; печальная невеста всякий час слезами обливается. Отдайте матери сына и невесте жениха!»

«Стой, воображение!» – сказал я сам себе и – заплатил два гроша сухой старухе и уродливому мальчику, которые показывали мне замок. Он издавна стоит пустой и начинает уже разваливаться.

Теперь накрывают нам стол. Ужин будет прощальный. Все мои товарищи, кроме капитана, едут отсюда в Штетин, куда мне не дорога. Вероятно, что нам уже никогда не видать друг друга. Правда, что эта мысль для меня не очень горестна. Я не поблагодарил бы судьбы, если бы она велела мне всегда жить с такими людьми. С ними можно говорить только о смотрах, маршах и тому подобном. Самый язык их странен. Не зная по-французски, употребляют они в разговоре множество французских слов, произнося их по-своему. Например: «*Da ist eine Precipice – ich habe eine Ture gemacht – ich schanschire es*»,⁸⁸ и проч.

К нам пристал еще молодой человек, почтмейстерской сын, который едет учиться в университет. Слыша, что офицеры в шутку называли меня доктором, вздумал он показать мне свою ученость и спросил, как, *по моему мнению*, можно перевести на немецкий латинское слово *ratio*? Потом начал говорить о *духе языков* и проч. Надобно знать, что магистер уже от нас отстал; а то бы он не дал ему много говорить. Офицеры не полюбили сего ученого почтмейстерского сына и старались его дурачить. Приехав сюда, вынул он из кармана превеликие шпоры и положил на стол. Офицеры, находя странным, что человек, едущий учиться в университет, вместо книг везет в кармане такую вещь, стали смеяться. Француз подскочил с лорнетом и начал рассматривать шпоры с великим вниманием. Смех умножился. «Что вы находите в них?» – спросил капитан. – «Знакомые черты, – сважностью отвечал француз, – кажется, как будто бы я видал их прежде; однако ж нет – я видел только их изображение на эстампах в Дон-Кихоте!» Тут офицеры во все горло захохотали, а студент осердился. Насмеявшись досыта, капитан сказал мне: «Если когда-нибудь издадите вы журнал своего путешествия, то прошу вас не забыть шпор». – «Не забудьте шпор!» – закричали все офицеры. «Ваше желание исполню», – отвечал я. —

⁸⁸ Тут пропасть – я выкинул штуку – я меняю это (нем., фр.). – Ред.

Надобно сказать нечто о прусских допросах. Во всяком городке и местечке останавливают проезжих при въезде и выезде и спрашивают, кто, откуда и куда едет? Иные в шутку называются смешными и разными именами, то есть при въезде одним, а при выезде другим, из чего выходят чудные донесения начальникам. Иной называется Люцифером, другой Мамоном; третий в город въедет Авраамом, а выедет Исааком. Я не хотел шутить, и для того офицеры просили меня в таких случаях притворяться спящим, чтобы им за меня отвечать. Иногда был я какой-нибудь Баракоменеверус и ехал от горы Араратской; иногда Аристид, выгнанный из Афин; иногда Альцибиад, едущий в Персию; иногда доктор Панглос, и проч., и проч.

Кушанье поставили. Простите!

Берлин, 30 июня 1789

Вчера приехал я в Берлин, друзья мои; а ныне, к великому своему удовольствию, получил от вас письмо, которого ждал с таким нетерпением. Известие, что вы остались здоровы, меня утешило, успокоило. Но на что вы иногда грустите? Этого не было в уговоре. А если вы и впредь будете так немилостивы к себе и к другу своему, который за несколько тысяч верст берет участие даже в минутной вашей неприятности, то он, в отмщение вам, сам будет грустить с утра до вечера.

Последнее письмо отправил я к вам из Штаргарда. Мы выехали оттуда в полночь. Кроме капитана, было у меня двое новых товарищей: офицер, едущий в Империю⁸⁹ для набора рекрут, и купец штаргардский. Я сел в коляске назади, на своем чемодане; мог протянуть ноги, мог прилечь на подушку; спина моя распрямилась, и движение крови стало ровнее; тряская коляска казалась мне усыпительной колыбелью – и я, почитая себя блаженнейшим человеком в свете, заснул крепким сном и спал до первой перемены, где разбудили меня пить кофе.

Не доезжая за десять миль до Берлина, капитан нас оставил. Мы прощались друг с другом как приятели, и я дал ему слово сыскать его в Кенигсберге, когда поеду обратно через сей город. «Ведь нам еще надобно хоть один раз в жизни видеться, – сказал он, пожимая руку мою, – заезжайте ко мне и расскажите, что увидите в свете». – «Хорошо, хорошо, господин капитан! Будьте между тем здоровы!»—Итакмы расстались.

В последнюю ночь нашего путешествия, приближаясь к Берлину, начинал я думать, что там делать буду и кого увижу. Ночью всякие мечты воображения бывают живее, итак ясно представил себе любезного А*,^[9] идущего ко мне навстречу с трубкой и кричащего: «Кого вижу? Брат Рамзей⁹⁰ в Берлине?», что руки мои протянулись обнять его; но вместо моего дражайшего приятеля, который в сию минуту был от меня так далеко, чуть не обнял я мокрой женщины, сидевшей с нами в коляске. «Но как зашла к вам мокрая женщина?» Вот как. Солнце село, пошел дождь, и вечер превратился в глубокую ночь. Вдруг коляска наша остановилась; ширмейстер, сидевший с нами, выглянул и начал с кем-то бормотать; потом, оборотившись к нам, сказал: «Господа! Позвольте ли сесть в коляску одной честной женщине и доехать с нами до первого местечка, куда она идет с своим мужем? Дождь промочил ее насквозь, и она боится занемочь». – «А хороша ли она?» – спросил офицер, едущий в Империю. «Теперь темно», – отвечал ширмейстер. – «Пускай ее садится», – сказал офицер. Я то же сказал, и купец то же. Женщина влезла к нам в коляску и была подлинно очень мокра, так что мы пятились от нее как можно далее, боясь воды, которая текла с нее ручьями. Офицер вступил с нею в разговор и узнал от нее, что она жена портного мастера, очень любит своего мужа и с ним никогда не расстаётся; что они ужинали в гостях у своего дяди, зажиточного купца, который торгует заморскими товарами, и пошли домой пешком для того, чтобы наслаждаться приятностями вечера, никак не ожидав дождя; что она взяла у дяди книжку «Жизнь барона Тренка», в которой опи-

⁸⁹ *Империю* – Австрия.

⁹⁰ *Брат Рамзей...* – *Брат* – общепринятое обращение масона к масону. *Рамзей* – прозвище Карамзина в дружеском кругу.

сываются самые чудные приключения и всё справедливые; что дочь дяди их, которой минуло уже девятнадцать лет, однажды не спала целую ночь, читая эту книгу, а на другую ночь во сне увидела Тренка в цепях и так закричала, что отец пришел к ней со свечою посмотреть, что с нею сделалось, – и проч., и проч. Вот все дело!

«Но если я не найду его в Берлине!» – пришло мне вдруг на мысль – и в самую ту минуту встретилась нам коляска. Насилу мог я удержаться, чтобы не закричать: «Стой!» – «Это, верно, он, – думал я, – это, верно, он! Прости! Приезжай благополучно в наше отечество, к своим друзьям! Ты увидишь моих любезных; увидишь и не скажешь им ничего обо мне!» – Между тем мы приехали на станцию. Я тотчас пошел к почтмейстеру спросить, кто проехал в коляске. «Русский – купец из Риги», – отвечал он. Тут я готов был вспрыгнуть от радости, что это был не наш А*.

В некотором расстоянии от Берлина начинается прекрасная аллея из каштановых деревьев, и дорога становится лучше и веселее. О виде Берлина нельзя было мне судить потому, что беспрестанный дождь мешал видеть далеко вперед. У ворот мы остановились. Сержант вышел из караульни нас допрашивать: «Кто вы? Откуда едете? Зачем приехали в Берлин? Где будете жить? Долго ли здесь пробудете? Куда поедете из Берлина?» Судите о любопытстве здешнего правительства! – Наконец мы въехали в улицу прекрасного Берлина, где я надеялся отдохнуть в объятиях сердечной приязни, рассказывать русскому о России и другу о друзьях, говорить о наших веселых московских вечерах и философских спорах!.. Но судьба смеялась надо мною!

Коляска наша остановилась у почтового дома. Там прежде всего спросил я у секретаря, где живет А*? И что же? С хладнокровием, совсем противным моему нетерпению, отвечал он: «Его уже здесь нет!» – «Его здесь нет?» – «Нет, сударь», – повторил он и начал перебирать письма. – «Где же он?» – «Во Франкфурте-на-Майне. Подите к своему священнику; там лучше все узнаете». Я бросился на стул и готов был заплакать. Секретарь взглянул на меня с улыбкою. «Вы думали его здесь найти?» – спросил он. «Думал, государь мой, думал!» – Исими словами я хотел идти вон. «Постойте, – сказал секретарь, – надобно осмотреть ваш чемодан». То есть надобно было взять с меня несколько грошей. – Вообразите друга вашего, идущего в самых горестных размышлениях по берлинским улицам вслед за инвалидом, который нес чемодан мой! Ни огромные дома, ни многолюдство, ни стук карет не могли вывести меня из меланхолической задумчивости. Я сам себе казался жалким сиротою, бедным, несчастным, и единственно оттого, что А* не хотел меня дожидаться в Берлине! ^[10]

«Жаль, жаль, государь мой, – сказал мне г. Блум, трактирщик *английского короля в Братской улице*, – жаль, что у меня нет теперь для вас места. В доме моем заняты все комнаты. Вы, думаю, знаете, что к нашему королю пожаловала гостья, его сестрица.⁹¹ В Берлине будут праздники, и многие господа приехали сюда на это время. Поверите ли, что я ныне отказал уже десяти человекам?» – «Итак, господин Блум...» – «Вы из России приехали?» – «Из России. Итак...» – «У вас все войною занимаются?» – «Да, господин Блум, у нас война. Итак, мне остается...» – «Послушайте; теперь только опросталась у меня одна комната, и вы можете занять ее. Что же у вас с турками делается?» – «Прикажите мне указать комнату; а после, если угодно...» – «Очень хорошо! Очень хорошо! Пойдемте, пойдемте!» Он привел меня в маленькую горенку с одним окном. «Не правда ли, что она очень хороша и очень уютна?» – «Я доволен, господин Блум». Тут пришел ко мне фельдшер, парикмахер. Господин Блум от меня не выходил, беспрестанно говорил, и наконец мне же вздумал рассказывать, что у нас в России делается. «Послушайте, господин Блум, – сказал я, – это все писано к вам от первого числа апреля по старому или по новому стилю». – «Как, государь мой?» – «Как вам угодно», – отвечал я, – взял трость и пошел со двора.

⁹¹ ...к нашему королю пожаловала гостья, его сестрица. – Фридерика София Вильгельмина (1751–1820), жена Вильгельма V, штатгальтера нидерландского.

Человек рожден к общежитию и дружбе – сию истину живо чувствовало мое сердце, когда я шел к Д*, желая найти в нем хотя часть любезных свойств нашего А*, желая полюбить его и говорить с ним со всею дружескою искренностью, свойственно моему сердцу! – Благодарю судьбу! Я нашел, чего желал – нашел в Д* любезного, добродушного, искреннего человека. Он любит свое отечество, и я люблю его; он любит А*, и я люблю его; он сроден к откровенности, итак же: итак, долго ли было нам познакомиться? Мы проговорили с ним до вечера, и он захотел еще проводить меня.

Лишь только вышли мы на улицу, я должен был зажать себе нос от дурного запаха: здешние каналы наполнены всякою нечистотою. Для чего бы их не чистить? Неужели нет у берлинцев обоняния? – Д* повел меня через славную *Липовую улицу*, которая в самом деле прекрасна. В середине посажены аллеи для пешеходов, а по сторонам мостовая. Чище ли здесь живут, или испарения лип истребляют нечистоту в воздухе, – только в сей улице не чувствовал я никакого неприятного запаха. Дома не так высоки, как некоторые в Петербурге, но очень красивы. В аллеях, которые простираются в длину шагов на тысячу или более, прогуливалось много людей.

Лишь только я в своей комнате расположился пить чай, пожаловал ко мне г. Блум с бумажкою в руках. «Вам надобно на это отвечать», – сказал он. Я увидел на бумаге те вопросы, которые делали мне при въезде в город, с прибавлением одного: «В какие ворота вы въехали?» Они напечатаны, и мне надлежало под каждым писать ответ. «Боже мой! Какая осторожность! Разве Берлин в осаде?» – Господин Блум объявил мне с важным видом, что завтра берлинская публика узнает через газеты о моем приезде!

Ныне поутру ходил я с Д* осматривать город. Его по справедливости можно назвать прекрасным; улицы и дома очень хороши. К украшению города служат также большие площади: *Вильгельмова, Жандармская, Денгофская* и проч. На первой стоят четыре большие мраморные статуи славных прусских генералов: Шверина, Кейта, Винтерфельда и Зейдлица. Шверин держит в руке знамя, с которым он в жарком сражении под Прагою бросился на неприятеля, закричав своему полку: «Дети! за мной!» Тут умер он смертью героя, и король сожалел о сем искусном и храбром генерале более, нежели о потере двадцати тысяч воинов. – Фридрих, приняв Кейта в свою службу, сказал: «Я много выиграл». Фридрих знал людей, и Кейт оказал ему важные услуги. – Говорят, что граф Петр Александрович Румянцев похож на Винтерфельда. Я не имел счастья видеть нашего Задунайского героя и потому не мог искать сего сходства в хладном мраморе, изображающем Винтерфельда. – Зейдлиц был любимец королевский, пылкий, отважный воин. Отдавая справедливость его достоинствам, осуждают в нем некоторые слабости и говорят, что они были причиною безвременной смерти его. Он умер не на поле чести, а на одре мучительной болезни. Король тужил о нем, как о своем любимце. – Таким образом, Фридрих хотел во мраморе предать векам память своих полководцев. Юный воин, смотря на их изображения, чувствует желание подражать героям и жить в памяти потомства. Я сам люблю рассматривать памятники славных людей и представлять себе дела их. – На так называемом *Длинном мосту* через реку Шпре стоит из меди вылитый монумент Фридриха Вильгельма Великого. Когда русские войска пришли сюда, то некоторые из солдат в забаву рубили его тесаками. Мне показывали сии знаки, которые возбуждают в берлинцах неприятное воспоминание.

Мы прошли в Королевскую библиотеку. Она огромна – и вот все, что могу сказать о ней! Более всего занимало меня богатое анатомическое сочинение с изображениями всех частей человеческого тела. Покойный король заплатил за него семьсот талеров. Есть довольно восточных рукописей, на которые я только взглянул. Показывали мне еще Лютеров немецкий манускрипт, но я почти совсем не мог разобрать его, не читав никогда рукописей того века. – Книги давать на дом запрещено, однако ж известный человек, задоблив деньгами помощника библиотечарского, может иметь некоторые. Таким образом Д* взял для меня Николаево описание

Берлина,⁹² которое хотелось мне просмотреть. Библиотекою управляет ныне г. доктор Бистер, который и живет в сем большом доме.

За столом у господина Блума сидело человек тридцать: офицеров, купцов и важных саксонских баронов, приехавших в Берлин на праздники. Теперь все готовится ко встрече штат-гальтерши, которая послезавтра будет сюда из Потсдама вместе с королем. Об этом только и говорят; да о разбойниках, которые близ Ораниенбурга⁹³ разбили почту. – Ввечеру Д* водил меня в зверинец.⁹⁴ Он простирается от Берлина до Шарлотенбурга и состоит из разных аллей: одни идут во всю длину его, другие поперек, иные вкось и перепутываются: славное гульбище! Долго искал я того места, о котором некогда наш А* писал ко мне следующее: «Я нашел в зверинце длинную аллею, состоящую из древних сосен; мрачность и непременяющаяся зелень деревьев производят в душе некоторое священное благоговение. Не забуду я одного утра, когда, гуляя в зверинце один и предавшись стремлению своего воображения, которое, как известно тебе, склонно к пасмурным представлениям, вступил я нечаянно в сию аллею. До того места освещало меня лучезарное солнце, но вдруг исчез весь свет. Я поднял глаза и увидел перед собою сей путь мрачности. Только вдали при выходе виден был свет. Я остановился и долго глядел. Наконец одна мысль пробудила меня... „Не есть ли, – думал я, – не есть ли тьма сия изображение твоего состояния, когда ты, разлучившись с телом, вступишь в неизвестный тебе путь?“ Мысль сия так во мне усилилась, что я уже представил себя облегченного от земного бремени, идущего к оному вдали светящемуся свету, и... с того времени всякий раз, когда бываю в зверинце, захожу туда и часто поминаю тебя». Любезный меланхолик!

Я сам думал о тебе, вступая в сию аллею, и стоял, может быть, точно на том месте, где ты обо мне думал. Может быть, ты опять здесь стоять будешь, но я буду далеко, далеко от тебя! —

В зверинце много кофейных домов. Мы заходили в один из них, чтобы утолить жажду белым пивом, которое мне очень не понравилось. – Сад принца Фердинанда, в который мы прошли из зверинца, отворен для всех порядочно одетых людей. Я не взял бы тысячи таких садов за зверинец. Тут прогуливался сам принц и с угрюмым видом отплатил нам поклон. – Бьет час.

Июля 1

Ныне поутру, побывав у господина М*, к которому было у меня письмо от князя Д*, я виделся с известным Николаем, автором и книгопродавцем, живущим в той же улице, где я живу, то есть в Brüderstrasse. Он встретил меня с такою ловкостью, с такою учтивостью, какой бы нельзя было ожидать от немецкого ученого и книгопродавца. «Вас знают и в России, – сказал я ему, – знают, что немецкая литература обязана вам частью своих успехов. Приехав в Берлин, спешил я видеть друга Лессингова и Мендельсона». – «Благодарю вас», – отвечал он с улыбкою и посадил меня на софе. С путешественником всего ближе говорить о путешествиях: итак, услышав, что я еду в Швейцарию, начал он говорить со мною о тех удовольствиях, которые можно иметь в этой примечания достойной земле, где он сам был за несколько лет перед сим. Но скоро обратил я разговор на берлинский иезуитизм. Надобно знать, что с некоторого времени начали писать в Германии – или, лучше сказать, в Берлине, и Николай первый подал к тому мысль, – будто есть тайные иезуиты,⁹⁵ которые всеми силами стараются снова овладеть Европою; будто Калиостро и подобные суть их миссионеры, которые, обольщая легковверных

⁹² ...*Николаева описание Берлина...* – Николай Х.-Ф. Описание королевских резиденций Берлина и Потсдама (1769).

⁹³ *Ораниенбург* – северо-восточное предместье Берлина.

⁹⁴ ...*водил меня в зверинец...* – Тиргартен, парк в Берлине.

⁹⁵ ...*тайные иезуиты...* – В то время как в католических княжествах Германии (прежде всего в Баварии) преследование иллюминатов (сторонников А. Вейсгаупта) приняло характер охоты за ведьмами, в лютеранских областях, главным образом в Пруссии, с не меньшей нетерпимостью развернулась кампания поисков «скрытых иезуитов». В ходе ее был высказан ряд безответственных личных обвинений.

людей пышными обещаниями, поработают их власти тайных иезуитских начальников и проч., и проч. С сего времени стали везде искать скрытых иезуитов: между учеными и неучеными, между пасторами и солдатами. В сочинениях некоторых писателей нашли что-то иезуитское. Началась ужасная война, и «Берлинский журнал»,⁹⁶ издаваемый Бистером и Гедике, избран был в театр сей войны. С иезуитизмом слили в одно католицизм; доказывали, что *тот* и *тот* из известных протестантских ученых тайно приняли католическую религию; что они опасные люди, и проч. Те, которых наименовали, рассердились и начали браниться или отбраниваться, доказывая, что берлинцы бредят. Все это еще и ныне продолжается. Вот что сказал мне Николай:

«Известно, что иезуиты имели везде связи; что у них были свои банки, свои банкиры. Общество их хотя и называло папу своим покровителем, но цель его была тайная и сокрывалась во внутренности ордена. Папа, лишив орден своего покровительства, мог ли уничтожить существо его? Мог ли заставить внутренних начальников, или хранителей тайны, отказаться от их цели? Неужели закрылись все тайные каналы, через которые они действовали? Неужели исчезли все банки их? – Я предложил свои чаяния и хотел только возбудить внимание к сему предмету. Гипотеза моя, казалось, могла изъяснить некоторые явления наших времен. – Что принадлежит до католицизма, то всякий протестант имеет причину не желать его распространения. Мы, слава богу, можем обо всем рассуждать, можем пользоваться своим разумом; но дух католицизма не терпит никакой свободы в умствованиях и налагает цепи на разум. Если вы читаете книги, выходящие в Германии, то, конечно, заметили великую розницу между теми, которые печатаются в протестантских и католических землях: где более просвещения?» – «Все это очень хорошо, – сказал я, – но зачем с такою жестокостию писать против некоторых почтеннейших мужей Германии, для того единственно, что они сомневаются в существовании тайных иезуитов и в том, чтобы католики могли ныне быть опасны протестантам? Признаться вам, я не мог без досады читать колкого ответа доктора Бистера господину Гарве, одному из первых ваших философов, который с такой скромностию предложил свои сомнения». – «Однако ж Гарве, – отвечал Николай, – переменил свои мысли; мы с ним нарочно для этого виделись. Не надобно думать, чтобы католики совсем перестали ныне стараться обращать протестантов в свое исповедание. Известно учение их церкви, что вне ее нет спасения; и так они, по некоторому человеколюбию, хотят распространить ее область. Одним словом, осторожность была нужна. – Впрочем, всякий отвечает за себя. Если некоторые зашли слишком далеко, я не виноват. Только во многом нас *хотят* криво толковать, к чему Штарк⁹⁷ и подобные имеют свои причины. Правда, что дело, делаемое с добрым намерением, может иметь некоторые худые следствия; но если оно имеет несравненно более добрых, то нельзя не назвать его хорошим делом». – Завтра едет Николай к водам. «Путешествие есть для меня лекарство», – сказал он. Я записал ему на карточке свое имя и пожелал счастливого пути. Потом он так же учтиво проводил меня, как встретил. – Жаль, что он едет. Я хотел бы еще поговорить с ним о некоторых вещах в досужные для него часы. Признаться, сердце мое не может одобрить тона, в котором господа берлинцы пишут. Где искать терпимости, если самые философы, самые просветители – а они так себя называют – оказывают столько ненависти к тем, которые думают не так, как они? Тот есть для меня истинный философ, кто со всеми может ужиться в мире; кто любит и несогласных с его образом мыслей. Должно показывать заблуждения разума человеческого с благородным жаром, но без злобы. Скажи человеку, что он ошибается и почему; но не поноси сердца его и не называй его безумцем. Люди, люди! Под каким предлогом вы себя не мучите! –

⁹⁶ «Берлинский журнал» – «Берлинский ежемесячник» (1783–1796), на страницах которого развернулись «разоблачения» скрытых иезуитов. Карамзин использовал эту полемику для того, чтобы высказать программную для всей книги идею: требование терпимости к чужой точке зрения в мире, раздираемом идейными конфликтами.

⁹⁷ Придворный дармштатский проповедник, которого берлинцы объявили тайным католиком, иезуитом, мечтателем; которого судили с издателем «Берлинского журнала» гражданским судом и писал целые книги против своих обвинителей.

Лафатер есть один из тех, которых берлинцы бранят при всяком случае; и если он у них не совершенный иезуит, то по крайней мере великий мечтатель. Я к Лафатеру не пристрастен и обо многом думаю совсем не так, как он думает; однако ж уверен, что его «Физиогномические фрагменты» будут читаемы и тогда, когда забудут, что жил на свете почтенный доктор Бистер. Но оставим их. Что принадлежит до Николаевой наружности, то в ней хотя и нет ничего особенного, привлекательного, однако ж есть что-то почтенное. Он высок, худошав, смугл. Лафатер в «Физиогномике» своей говорит, что высокий лоб его показывает весьма рассудительного человека.

У г. Блума живет один молодой шведский купец. Ныне, когда мы сидели за столом, пришел к нему секретарь их посольства и вызвал его. Минут через пять возвратился наш швед с веселою улыбкою и объявил всему столу, что шведы в одном деле одержали верх над русскими. Секретарь датского посольства, который тут же обедал, начал смеяться над его патристическою ревностию. Прусские офицеры хотели знать подробности дела, но швед сам не знал их. «Да еще верить ли вашей победе? – сказал датчанин. – Мы будем ждать подтверждения». – «Какого подтверждения! – закричал швед. – Я вам ручаюсь». Датчанин смеялся, а швед горячился. Между тем г. Блум, подошедши ко мне, крайне упрашивал меня не входить в разговор. «Зачем вам тут мешаться? Вы видите, что швед очень горяч. Сохрани боже, если бы что-нибудь вышло у вас с ним в моем доме!» Я уверял его, что ссоры у нас не будет; но после стола не мог утерпеть, чтобы не подойти к шведу и не вступить с ним в разговор. Господин Блум тотчас подлетел к нам и посматривал то на меня, то на него, будучи готов потушить огонь при первом его воспылении. Однако ж мы довольно спокойно разговаривали. Швед был в России и по мундиру моему тотчас узнал, что я русский. «При начале войны меня выслали из Петербурга, – сказал он, – хотя мне очень хотелось пожить там». – «Жалуйтесь на своего короля, – отвечал я, – который объявил нам войну без всякой справедливой причины». Тут Блум дернул меня за полу, боясь, чтобы швед не рассердился; но он с улыбкою сказал: «Короли поступают не по тем правилам, которые для нас, частных людей, должны быть законом». – «Это говорит Фридрих», – сказал сквозь зубы прусский майор, сидевший за столом. Тут пришел ко мне Д*, и г. Блум был очень рад, что я убрался в свою комнату. Он боялся поединка.

После обеда был я в гарнизонной церкви и видел монументы и портреты славных воинов. Там Клейст подле Шверина и Винтерфельда, любезный Клейст, бессмертный певец Весны,⁹⁸ герой и патриот. Знаете ли вы конец его? В 1759 году, в жарком сражении при Куммерсдорфе, командовал он батальоном и взял три батареи. У правой руки отстрелили у него два пальца, он взял шпагу в левую. Пулею прострелили ему левое плечо; он взял шпагу опять в правую руку. В самую ту минуту, как храбрый Клейст уже готов был лезть на четвертую батарею, картеча раздробила ему правую ногу. Он упал и закричал своим солдатам: «Друзья! Не покиньте короля!» Наехали казаки, раздели Клейста и бросили в болото. Кто не подивится тому, что он в сию минуту смеялся от всего сердца над странною физиогномиею и ухватками одного казака, который снимал с него платье? Наконец от слабости заснул он так покойно, как бы в палатке. Ночью нашли его наши гусары, вытащили на сухое место, положили близ огня на солому и закрыли плащом. Один из них хотел всунуть ему в руку несколько талеров, но как он не принял сего подарка, то гусар с досадою бросил деньги на плащ и ускакал с своими товарищами. Поутру увидел Клейст нашего офицера, барона Бульдберга, и сказал ему свое имя. Барон тотчас отправил его во Франкфурт. Там перевязали ему раны, и он спокойно разговаривал с философом Баумгартеном, некоторыми учеными и нашими офицерами, которые посещали его. Через несколько дней умер Клейст с твердостью стоического философа. Все наши офицеры присутствовали на его погребении. Один из них, видя, что на гробе у него не было шпаги, положил свою, сказав: «У такого храброго офицера должна быть шпага и в могиле». –

⁹⁸ ...певец Весны... – Эвальд Клейст, автор поэмы «Весна» (1749).

Клейст есть один из любезных моих поэтов. Весна не была бы для меня так прекрасна, если бы Томсон и Клейст не описали мне всех красот ее.

Июля 2

Ныне приехал сюда король с своею гостьею штатгальтершею. Не можете вообразить, что за пышная была ей встреча! Все граждане стояли в ружье, и никакая сорочья стая не может так пестриться, как пестрился этот фрунт. Офицеры отличались от рядовых только тем, что у них косы привиты были гораздо круче. В ожидании штатгальтерши тянули они всем фрунтом водку, и так неосторожно, что некоторые стукались лбами. Капитаны ходили и увещевали своих сограждан отмахнуть на караул мастерски. «И конечно, конечно! – кричали они. – Мы не ударим себя лицом в грязь». Нельзя было не смеяться этому фарсу. – Купцы, все в красных кафтанах, под начальством одного банкира, выезжали встречать штатгальтершу за город. – И за то, что я посмеялся над берлинскими гражданами и взглянул на штатгальтершу и прусского короля, вымочил меня дождь. Теперь начнутся здесь пиры. – Иду в театр.

В 10 часов ночи. Давно уже не был я так приятно растроган, как ныне в театре. Представляли драму «Ненависть к людям и раскаяние», сочиненную господином Коцебу, ревельским жителем.⁹⁹ Автор осмелился вывести на сцену жену неверную, которая, забыв мужа и детей, ушла с любовником; но она мила, несчастлива – и я плакал, как ребенок, не думая осуждать сочинителя. Сколько бывает в свете подобных историй!.. Коцебу знает сердце. Жаль только, что он в одно время заставляет зрителей и плакать, и смеяться! Жаль, что не имеет вкуса или не хочет его слушаться! Последняя сцена в пьесе несравненна. – Господин Флек играет ролю мужа с таким чувством, что каждое слово его доходит до сердца. По крайней мере я еще не видывал такого актера. В нем соединены великие природные дарования с великим искусством. Г-жа Унцельман представляет жену очень трогательно. В игре ее обнаруживается какая-то нежная томность, которая делает ее любезною для зрителя. – Я думаю, что у немцев не было бы таких актеров, если бы не было у них Лессинга, Гете, Шиллера и других драматических авторов, которые с такою живостию представляют в драмах своих человека, каков он есть, отвергая все излишние украшения, или французские румяна, которые человеку с естественным вкусом не могут быть приятны. Читая Шекспира, читая лучшие немецкие драмы, я живо воображаю себе, как надобно играть актеру и как что произнести; но при чтении французских трагедий редко могу представить себе, как можно в них играть актеру хорошо или так, чтобы меня тронуть. – Вышедши из театра, обтер я на крыльце последнюю сладкую слезу. Поверите ли, друзья мои, что нынешний вечер причисляю я к счастливейшим вечерам моей жизни? И пусть теперь доказывают мне, что изящные искусства не имеют влияния на счастье наше! Нет, я буду всегда благословлять их действие, пока сердце будет биться в груди моей – пока будет оно чувствительно!

Июля 4

Вчера в шесть часов утра поехали мы с Д* верхом в Потсдам. Ничего нет скучнее этой дороги: везде глубокий песок, и никаких занимательных предметов в глаза не попадается. Но вид Потсдама, а особливо Сан-Суси, очень хорош. Мы остановились в трактире, не доезжая до городских ворот, и, заказав обед, пошли в город. У ворот записали наши имена; однако ж в рассуждении допросов ныне нет уже такой строгости, как прежде. Покойный король, живучи в Потсдаме, хотел знать обо всех приезжих. – На парадном месте против дворца, украшенном колоннадами, училась гвардия: прекрасные люди, прекрасные мундиры! Вид дворца со стороны сада очень хорош. Город вообще прекрасно выстроен; в большой, так называемой Римской, улице много великолепных домов, строенных отчасти по образцу огромнейших римских

⁹⁹ ...Коцебу, ревельским жителем... – Август Коцебу имел поместье под Ревелем (Таллином), подаренное ему Павлом I.

палат и на собственные деньги покойного короля: он дарил их кому хотел. Теперь сии огромные здания пусты или занимаются солдатами. Жителей очень мало: причиною то, что нынешний король совсем оставил сей город, предпочитая ему Шарлотенбург. Не для того ли противен ему Потсдам, что он, будучи принцем, имел там много неудовольствий и досад? Вообразите, что целый дом в два этажа можно нанять там за пятьдесят рублей в год; да и то нанимать некому. На дверях больших домов висят солдатские сумы, камзолы и проч. Коротко сказать, Потсдам кажется таким городом, из которого жители удалились, слыша о приближении неприятеля, и в котором остался только гарнизон для его защиты. Не можете вообразить, как печален сей вид пустоты!

В Потсдаме есть русская церковь под надзиранием старого русского солдата, который живет там со времен царствования императрицы Анны. Мы насилу могли сыскать его. Дряхлый старик сидел на больших креслах и, слыша, что мы русские, протянул к нам руки и дрожащим голосом сказал: «Слава богу! Слава богу!» Он хотел сперва говорить с нами по-русски, но мы с трудом могли разуметь друг друга. Нам надлежало повторять почти каждое слово, а что мы с товарищем между собою говорили, того он никак не понимал и даже не хотел верить, чтобы мы говорили по-русски. «Видно, что у нас на Руси язык очень переменялся, – сказал он, – или я, может быть, забываю его». – «И то и другое правда», – отвечали мы. – «Пойдемте в церковь божью, – сказал он, – и помолимся вместе, хотя ныне и нет праздника». Старик насилу мог передвигать ноги. Сердце мое наполнилось благоговением, когда отворилась дверь в церковь, где столько времени царствует глубокое молчание, едва прерываемое слабыми вздохами и тихим голосом молящегося старца, который по воскресеньям приходит туда читать святейшую из книг, приготовляющую его к блаженной вечности. В церкви все чисто. Церковная утварь и книги хранятся в сундуке. От времени до времени старик перебирает их с молитвою. «Часто от всего сердца, – сказал он, – сокрушаюсь я о том, что по смерти моей, которая от меня, конечно, уже недалеко, некому будет смотреть за церковью». – Сполчася пробывши мы в сем священном месте; простились с почтенным стариком и пожелали ему – тихой смерти.

После обеда были мы в Сан-Суси. Сей увеселительный замок лежит на горе, откуда можно видеть город со всеми окрестностями, что составляет весьма приятную картину. Здесь жил не король, а философ Фридрих – не стоический и не циник, но философ, любивший удовольствия и находивший их в изящных искусствах и науках. Он хотел соединить здесь простоту с великолепием. Дом низок и мал, но, взглянув на него, всякий назовет его прекрасным. Внутри комнаты отделаны со вкусом и богато. В круглой мраморной зале надобно удивляться колоннам, живописи и прекрасно набранному полу. Комната, где король беседовал с мертвыми и живыми философами, убрана вся кедровым деревом. С горы, скрытой уступами (которые один другой закрывают, так что, взглянув снизу вверх, видишь только одну зеленую гладкую гору), сошли мы в приятный сад, украшенный мраморными фигурами и группами. Здесь гулял Фридрих с своими Вольтерами и Даланбертами. «Где ты теперь? – думал я. – Сажень землиместила прах твой. Любезные места твои, для украшения которых призывал ты лучших художников, теперь осиротели и пусты». – Из сада прошли мы в парк, где встречается глазам японский домик на левой стороне главной аллеи; а далее, перешедши через каменный мост, видишь на обеих сторонах прекрасные храмики. Мы прошли к новому дворцу, построенному покойным королем со всею царскою пышностью. Внутренность еще великолепнее внешности; и, дивясь богатству, дивишься и вкусу, который виден в уборе комнат. Более шести миллионов талеров стоил королю сей дворец. – Правда, я был тут не в таком расположении, в каком надобно рассматривать пышные произведения искусств. Кровь моя волновалась, голова болела, и я насилу мог ходить. Оставив дворец, поехали мы назад в город, чтобы отдохнуть несколько в том трактире, где обедали.

День склонялся к вечеру, и надобно было думать о возвращении. Вода с вином освежила меня, и мы поехали назад в Берлин по Шарлотенбургской дороге. Мне хотелось видеть сей

городок. Товарищ мой тут не ездил; но все уверяли нас, что нам нельзя сбиться с дороги. Чем далее ехали мы, тем хуже мне становилось. Раз шесть сходил я с лошади и отдыхал на траве. Ночь застала нас в большом лесу. Наконец я так ослабел, что не мог ни ехать, ни идти пешком и, как полумертвый, лежал под деревом с закрытыми глазами. В лесу царствовала глубокая тишина. Товарищ мой стоял подле меня, держа обеих лошадей, и горевал, не зная, как мне помочь. Одним словом, нас можно было в эту минуту изобразить на одном из тех эстампов, которыми украшаются модные романы! Д* вздумал было искать поблизости какого-нибудь селения, нанять телегу и везти меня в Берлин: но как же было остаться мне одному ночью, в лесу и в такой слабости? Пруссия не Аркадия, и наш век не золотой: меня могли ограбить, а со мною было все мое богатство. Наконец через час я встал и, пожав руку у моего любезного товарища, сказал ему, что мне лучше. С версту прошли мы пешком и сели на лошадей. Смертельная жажда томила меня, и за стакан воды отдал бы я половину своих червонцев. Шарлоттенбург был от нас еще не близко. Несколько раз надеялись мы видеть его, подъезжали и видели – лес и мрак. Наконец приехали в город; и с жадностью, какой еще никогда в жизни своей не чувствовал, лил я в себя холодную воду. До Берлина оставалась одна миля. Мне хотелось как-нибудь добраться до места, и мы въехали в аллею зверинца. Луна взошла над нами; ясный свет ее разливался по зелени листьев; тихий и чистый воздух упитан был благовонными испарениями лип. И я мог жаловаться в сии минуты – тогда как мать природа дышала ароматами вокруг меня? Эта ночь оставила во мне какие-то романические, приятные впечатления. – Городские ворота были уже затворены; однако ж нас пропустили.

Ныне поутру встал я совершенно здоров, оделся и поехал к господину М*. Он повез меня к Формею, секретарю Берлинской академии, который принял нас ласково. Сей старик все еще бодр и весел. Он читал нам письмо, полученное им из П* от своего родственника, который всякую неделю пишет к нему, и не щадя бумаги. «Не поверите, с каким удовольствием я все это читаю!» – сказал он. Господин Формей был знаком с Вольтером и рассказывал нам некоторые анекдоты касательно до его пребывания в Берлине. – В следующий четверг будет собрание в Берлинской академии, в которое угодно было господину Формею пригласить меня. Мы поехали к зятю его, господину М*, профессору, содержателю большого пансиона и также члену Академии. Он показывал нам минеральный кабинет и библиотеку сестры покойного короля, состоящую из французских, английских, итальянских и немецких книг – философов, историков и поэтов. – После обеда я был у графа Н*: о нем ни слова! Говорят, что он в старину имел имя остроумного человека в свете. Австрийский посол, князь Р*, бывший у него в гостях, казался мне ласковее хозяина.

Я поехал в оперу. Оперный дом велик и очень хорош. Тут видел я всю королевскую фамилию и штатгальтершу с дочерью. Играли оперу «Медея»,¹⁰⁰ в которой пела Тоди. Я слышал эту славную певицу¹⁰¹ еще в Москве, и скажу – может быть, к стыду своему, – что ее пение мало трогает мое сердце. Для меня неприятно видеть напряжение, с которым она поет. Впрочем, будучи только любителем музыки, не могу ценить искусства ее. Что принадлежит до декораций, то они были великолепны. —

Июля 5

Ныне был я у старика Рамлера,^[11] немецкого Горация. Самый почтенный немец! «Ваши сочинения, – сказал я ему, – почитаются у нас классическими». Ему приятно было слышать, что и в России читают его стихи и знают их цену. Рамлер напился духом древних, а особливо латинских поэтов. В одах его есть истинные восторги, высокое парение мыслей и язык вдохновения. Только иногда присвоивает он себе и чужие восторги и заимствует огонь у Горация

¹⁰⁰ «Медея» – опера (1775) чешского композитора Йиржи (Георга) Бенды (1722–1795).

¹⁰¹ Я слышал эту славную певицу... – М.-Л. Тоди пела в Москве с 1784 по 1787 г.

или других древних поэтов – правда, всегда искусным образом. Теперь он уже прожил век поэзии. В новых его пьесах надобно удивляться круглости, чистоте и гармонии, то есть искусству его в механизме стихотворства; но в них нет уже пиитического жара, который всегда с годами проходит. Кажется, что он сам это чувствует и потому ныне мало сочиняет. Главное его упражнение с некоторого времени состоит в переводах римских поэтов, в которых почти всегда соблюдает меру оригинала. Сии пьесы, печатаемые в «Берлинском журнале», могут служить примером в искусстве переводить. «Теперь, – сказал он мне, – принялся я за Марциала. Только немногие из его эпиграмм были до сего времени известны на немецком языке. Сам Лессинг перевел некоторые, не упоминая Марциалова имени». – Еще при жизни Геснеровой начал он перекладывать в стихи его идиллии. «Я подражаю Сократу, – писал он к автору, своему другу, – который в старости своей перелагал в стихи Езоповы басни». Искусные критики недовольны трудом его. «Легкость и простота Геснерова языка, – говорят они, – пропадает в экзаметрах». К тому же в идиллиях швейцарского Теокрита есть какая-то гармония, которая не уступает гармонии стихов. Но Рамлер думает и мне сказал, что Геснеровы идиллии были единственно потому несовершенны, что автор писал их не экзаметрами. – Стихи свои, еще в рукописи, читает он одной приятельнице, которая, не будучи ученою, имеет природное нежное *чувство изящного*. «Иногда, – сказал он мне, – я спорю с нею, когда она находит что-нибудь противное в моих сочинениях. „Говорите что хотите, – отвечает она, – я не могу опровергать вас, но остаюсь при своем чувстве“. Наконец, подумав хорошенько, нахожу, что она права, и винюсь перед нею». – Мне пришла на мысль Аспазия, которой афинские певцы отдавали на суд свои творения; ушам ее верили они более, нежели своим, – и я думаю, что женщины вообще могут чувствовать некоторые красоты поэзии живее мужчин. – Рамлер восстает против греческих митологических имен, которые граф Штолберг, Фос и другие удерживали в своих переводах. «Мы уже привыкли к латинским, – говорит он, – на что переучивать нас без всякой нужды?» – Он очень любит театр, и все, что я слышал от него об искусстве представления, мне очень понравилось. Славный Экгоф утверждал, что актеру не надобно чувствовать для того, чтобы хорошо играть; если не ошибаюсь, то и Энгель в своей «Мимике» то же говорит: но Рамлер думает противное, и, кажется, справедливее их. В разговоре о лейпцигских ученых упомянул я о Вейсе. «Вейсе – лучший друг мой», – сказал он и указал мне на стене портрет его. – Наконец я простился с ним, и он на память подарил мне оду,¹⁰² сочиненную им нынешнему королю, или, лучше сказать, кантат, выбранный из псалмов. – Рамлер высок, худощав, долгонос; говорит отборно и протяжно.

Ныне представляли «Дон-Карлоса», Шиллерову трагедию. Несчастливая любовь принца к его мачехе Елисавете, которая прежде была его невестой, есть содержание сей трагедии. Характер короля Филиппа II, о котором история говорит столько худого и доброго; который, для истребления ереси, проливал кровь человеческую, но, услышав о гибели флота своего, рассеянного ветром и разбитого англичанами, равнодушно сказал: «Я послал его против англичан, а не против ветров: буди воля божия!» и сие несчастье перенес с твердостью героя, – сей характер изображен с великим искусством. Благородный и пылкий в страстях своих Дон-Карлос трогает зрителя до глубины сердца. Великодушный маркиз Поза, друг принцев, пробуждающий в нем ревность к добродетели и к героическим делам, которую усыпила несчастная страсть, представлен автором в пример истинно великого мужа. Есть трогательные и ужасные сцены. – Короля играл Флек, и я еще более уверился в том, что он великий актер. Маттауш, молодой человек, представлявший Дон-Карлоса, довольно хорошо выражал живость и пылкость принцева характера. К тому же он очень недурен собою. Что принадлежит до роли мар-

¹⁰² ...подарил мне оду... – Имеется в виду «Dankopfer für den Landsvater eine Davidische Cantate dem Könige Friedrich Wilhelm II gewidmet» – «Дань благодарности отцу отечества, кантата из псалмов Давида, посвященная королю Фридриху Вильгельму II» (Ramlers K. W. Poetische Werke, II Theil. Berlin, 1801, s. 43–48).

киза Позы, то Унцельман играл ее как-то очень бездушно. Ему гораздо свойственнее представлять в «Ненависти к людям» старого генерала, который от скуки бьет мух, нежели важного маркиза Позу. Роль королевы играла очень слабо какая-то молодая актриса. Г-жа Унцельман трогательно представляла молодую принцессу, влюбленную в принца. – Сия трагедия есть одна из лучших немецких драматических пьес и вообще прекрасна. Автор пишет в Шекспировом духе. Есть только слишком фигурные выражения (так, как и у самого Шекспира), которые хотя и показывают остроумие автора, однако ж в драме не у места.

Берлин, июля 6

«Веди меня к Морицу», – сказал я ныне поутру наемному своему лакею. – «А кто этот Мориц?» – «Кто? Филипп Мориц, автор, философ, педагог, психолог». – «Постойте, постойте! Вы мне много насажали; надобно поискать его в календаре под каким-нибудь одним именем. Итак (*вынув из кармана книгу*), итак, он философ, говорите вы? Посмотрим». – Простодушные сего доброго человека, который с важностью переворачивал листы в своем всезаключающем календаре и непременно хотел найти в нем роспись философов, заставило меня смеяться. «Посмотри его лучше между профессорами, – сказал я, – пока еще число любителей мудрости неизвестно в Берлине». – «Карл Филипп Мориц, живет в ***». – «Пойдем же к нему».

Я имел великое почтение к Морицу, прочитав его «Anton Reiser»,¹⁰³ весьма любопытную психологическую книгу, в которой описывает он собственные свои приключения, мысли, чувства и развитие душевных своих способностей. «Confessions de J.-J. Rousseau»,¹⁰⁴ «Stillings Jugendgeschichte»¹⁰⁵ и «Anton Reiser» предпочитаю я всем систематическим психологиям в свете.

Человеку с живым чувством и с любопытным духом трудно ужитья на одном месте; неограниченная деятельность души его требует всегда новых предметов, новой пищи. Таким образом, Мориц, накопив от профессорского дохода своего несколько луидоров, ездил в Англию, а потом в Италию собирать новые идеи и новые чувства. Подробное и, можно сказать, оригинальное описание первого путешествия его, которое издал он под титулом «Reisen eines Deutschen in England»¹⁰⁶ читал я с великим удовольствием. О путешествии его по Италии, откуда он недавно возвратился, немецкая публика еще ничего не знает.

Я представлял себе Морица – не знаю почему – стариком; но как же удивился, нашедши в нем еще молодого человека лет в тридцать, с румяным и свежим лицом! – «Вы еще так молоды, – сказал я, – а успели уже написать столько прекрасного!» Он улыбнулся. – Я пробыл у него час, в который мы перебрали довольно разных материй.

«Ничего нет приятнее, как путешествовать, – говорит Мориц. – Все идеи, которые мы получаем из книг, можно назвать мертвыми в сравнении с идеями очевидца. – Кто хочет видеть просвещенный народ, который посредством своего трудолюбия дошел до высочайшей степени утончения в жизни, тому надобно ехать в Англию; кто хочет иметь надлежащее понятие о древних, тот должен видеть Италию». – Он спрашивал меня о нашем языке, о нашей литературе. Я должен был прочесть ему несколько стихов разной меры, которых гармония казалась ему довольно приятною. «Может быть, придет такое время, – сказал он, – в которое мы будем учиться и русскому языку; но для этого надобно вам написать что-нибудь превосходное». Тут невольный вздох вылетел у меня из сердца. Всем новым языкам предпочитает он немецкий, говоря, что ни в котором из них нет столько *значительных* слов, как в сем последнем. Надобно сказать, что Мориц есть один из первых знатоков немецкого языка и что, может быть, никто

¹⁰³ «Антон Райзер» (нем.). – Ред.

¹⁰⁴ «Исповедь Ж.-Ж. Руссо» (фр.). – Ред.

¹⁰⁵ «История моей молодости» Штиллинга (нем.). – Ред.

¹⁰⁶ «Путешествие немца по Англии» (нем.). – Ред.

еще не разбирал его так философически, как он. Весьма любопытны небольшие его пиесы «Über die Sprache in psychologischer Rücksicht»,¹⁰⁷ которые сообщает он в своем «Психологическом магазине». – «Нам должно всегда *соединенными силами* искать истины, твори: он, – она укрывается от *уединенного* искателя, и *утомленному* философу часто призрак истины кажется истиною». Мориц в ссоре с Кампе, славным немецким педагогом, который в «Ведомостях» разбил его за то, что он вышел из связи с ним и не захотел более печатать своих сочинений в его типографии. «Я хотел отвечать ему в таком же тоне, – сказал Мориц, – и написал было уже листа два; однако ж одумался, бросил в огонь написанное и хладнокровно предложил публике свое оправдание». – «Странные вы люди! – думал я, – вам нельзя ужиться в мире. Нет почти ни одного известного автора в Германии, который бы с кем-нибудь не имел публичной ссоры; и публика читает с удовольствием бранные их сочинения!» – «Adieu, г. профессор!» – Я хотел было видеть Энгеля, сочинителя «Светского философа» и «Мимики»; но, к сожалению, не застал его дома. После обеда был на фарфоровой фабрике, которая по чистоте и твердости фарфора есть одна из первых в Европе. Мне показывали множество прекрасных вещей, в которых надобно удивляться искусству рук человеческих.

В театре представляли ныне Шредеру «Familiengemälde»¹⁰⁸ – пиесу, которая не сделала во мне никакого приятного впечатления, может быть, оттого, что ее худо играли, – и оперу «Два охотника». В последней ролю девки-молочницы играла та актриса, которая в «Дон-Карлосе» представляла королеву: какое превращение! Однако ж девку-молочницу играет она лучше, нежели королеву.

Берлин, июля 7

Нравственность здешних жителей прославлена отчасти с худой стороны. Господин Ц* называет Берлин Содомом и Гомором; однако ж Берлин еще не провалился, и небесный гнев не обращает его в пепел. В самом деле, г. Ц*, писав это, забыл, что во всех семьях бывают уроды и что по сим уродам нельзя заключать о всей семье. Мудрено и людям считаться между собою в добродетелях или пороках, а городам еще мудренее. – Одним словом, если бы г. лейб-медик и кавалер был непристрастен; если бы *некоторые* люди в Берлине не зацепили его за живое, то бы он, конечно, не заговорил таким нефилософским для космополита и филантропа оскорбительным языком.

Говорят, что в Берлине много распутных женщин; но если бы правительство не терпело их, то оказалось бы, может быть, более распутства в семействах – или надлежало бы выслать из Берлина тысячи солдат, множество холостых, праздных людей, которые, конечно, не по Руссовой системе воспитаны и которые по своему состоянию не могут жениться.

Мне сказывали, что однажды ввечеру в зверинце развращенные берлинские вакханты, как фурии, бросились на одного несчастного Орфея, который уединенно гулял в темноте аллеи; отняли у него деньги, часы и сорвали бы с него самое платье, если бы подошедшие люди не принудили их разбежаться. Но когда бы рассказали мне и тысячу таких анекдотов, то я все не предал бы анафеме такого прекрасного города, как Берлин.

В похвалу берлинских граждан говорят, что они трудолюбивы и что самые богатые и знатные люди не расточают денег на суетную роскошь и соблюдают строгую экономию в столе, платье, экипаже и проч. Я видел старика Ф*, едущего верхом на такой лошади, на которой бы, может быть, ияпостыдился ехать по городу, и в таком кафтане, который сшит, конечно, в первой половине текущего столетия. Нынешний король живет пышнее своего предшественника; однако ж окружающие его держатся по большей части старины. – В публичных собраниях бывает много хорошо одетых молодых людей: в уборе дам виден вкус.

¹⁰⁷ «О языке в психологическом отношении» (нем.). – Ред.

¹⁰⁸ «Картины семейной жизни» (нем.). – Ред.

Берлин, июля 8

Если бы из народной брани можно было заключать о народном характере, то бы из *schwer Noth*,¹⁰⁹ любимого немецкого слова, путешественник заключил, что в немцах много желчи, но что бы тогда должно было заключить из любимой брани нашего народа?

Здесь стоят на улицах наемные кареты так, как у нас извозчичьи дрожки или сани. За восемь грошей – что по нынешнему курсу составит сорок копеек – можно ехать в город куда угодно, только в одно место. Карета и лошади очень изрядны.

Справедливо говорят, что путешественнику надобно всегда останавливаться в первых трактирах, не только для лучшей услуги, но и для самой экономии. Там есть всему определенная цена, и лишнего ни с кого не потребуют; а в худых трактирах стараются взять с вас как можно более, если приметят, что в кошельке вашем есть золото. У г. Блума плачу я за обед, который состоит из четырех блюд, 80 коп., за порцию кофе 15 коп., а за комнату в день 50 коп. Наемный лакей всегда благодарил меня, когда я давал ему в день полтину.

Ныне счел я, что дорога от Кенигсберга стоит мне не более пятнадцати червонных. На ординарной почте платят за милю 6 грошей, или 30 копеек; сверх того, надобно давать постillionам на вино.

За две мили от Дрездена, 10 июля 1789

Итак, ваш друг уже в Саксонии! – Осьмого числа отправил я к вам свой пакет из Берлина и думал еще пробыть там по крайней мере неделю; но *l'homme propose, Dieu dispose*.¹¹⁰ В тот же вечер стало мне так грустно, что я не знал, куда деваться. Бродил по городу, нахлобучив себе на глаза шляпу, и тростью своею считал на мостовой камни; но грусть в сердце моем не утихала. Прошел в зверинец, переходил из аллеи в аллею, но мне все было грустно. «Что же делать?» – спросил я сам у себя, остановясь в конце длинной липовой аллеи, приподняв шляпу и взглянув на солнце, которое в тихом великолепии сияло на западе. Минуты две искал я ответа на лазоревом небе и в душе своей; в третью нашел его – сказал: «Поедем далее!» – и тростью своею провел на песке длинную змейку,¹¹¹ подобную той, которую в «Тристраме Шанди» начертил капрал Трим (vol. VI., chap. XXIV), говоря о приятностях свободы. Чувства наши были, конечно, сходны. «Так, добродушный Трим! *Nothing can be so sweet as liberty!*»¹¹² —думал я, возвращаясь скорыми шагами в город, – и кто еще не заперт в клетку, кто может, подобно птичкам небесным, быть здесь и там, и там и здесь, тот может еще наслаждаться бытием своим, и может быть счастлив, и должен быть счастлив».

Итак не дожидаясь торжественного собрания Берлинской академии, решил я на другой день ехать. Мне надлежало бы еще побывать у гр. К*, которая звала меня к себе через господина М*, однако ж и это не могло меня остановить. – Вечер провел я очень приятно с любезным Д*, а на другой день поутру, уклад свой чемодан и расплатясь с господином Блумом, отправился в Саксонию – на ординарной почте, в открытой коляске, с двумя студентами и одним молодым лейпцигским купцом.

С другой перемены поехал я на так называемой экстренной почте. В проклятой немецкой фуре так растрясло меня, что и теперь чувствую боль в груди. Сверх того, остался у меня

¹⁰⁹ То есть падучая болезнь.

¹¹⁰ Человек предполагает, а бог располагает (фр.). – Ред.

¹¹¹ ...тростью своею провел на песке длинную змейку... – Здесь Карамзин, видимо по памяти, цитирует Стерна. Это место из романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (т. IX, гл. 4) звучит так: «Ничего не может быть грустнее пожизненного заключения, – продолжал капрал, – и слаще свободы, ваша милость». – «Ничего, Трим», – повторил мой дядя Тоби в раздумьи. «Пока человек свободен, – воскликнул капрал и кончил свою мысль, описав палкой по воздуху такую линию». Далее в романе следует змеобразная прихотливая черта, которая должна иллюстрировать мысль Стерна о связи свободы и игры.

¹¹² То есть ничего не может быть приятнее свободы.

на щеке рубец, и я должен еще благодарить судьбу, что глаза мои целы. Надобно знать, что дорога к саксонским границам идет по большей части лесом; а как почтовая коляска открыта и очень высока, то сидящие в ней беспрестанно должны нагибаться, чтобы не удариться головою об дерево. Вечеру я задремал и схватил от какого-то ветвистого дерева такую пощечину, что у меня искры из глаз посыпались. Все это вместе заставило меня проститься с веселыми студентами.

Экстренная почта стоит почти вчетверо дороже ординарной. Мне дают пару лошадей с коляскою и берут с меня за милю по талеру (120 коп.).

Саксонские постиллионы отменны от прусских только цветом своих кафтанов (на последних синие с красным воротником, а на первых – желтые с голубым), впрочем, они так же жалеют своих лошадей, так же любят пить в корчмах и так же грубы.

Дороги в Саксонии очень дурны, и от Берлина до сего места не встречалось глазам моим ни одного приятного вида; только земля здесь, кажется, лучше обработана, нежели в Бранденбурге. По крайней мере известно то, что саксонские земледельцы вообще гораздо богаче прусских.

Я должен описать вам одну встречу, которая оставила во мне приятные впечатления.

В местечке или в маленьком городке, где я ныне в полдень переменял лошадей, почтмейстер не отправлял меня очень долго. Я прохаживался по двору и думал – не знаю о чем. Знаю только, что стук коляски, подъехавшей к крыльцу почтового дома, перервал нить моих мыслей. Я взошел на крыльцо и увидел молодую, прекрасную, нежную, белокурую женщину – в маленькой черной шляпке, в амазонском зеленом платье, с белым платком в руках, – вышедшую из коляски с пожилым горбатым, долгоносим мужчиною, которого изображение было бы не последнею пиесой между гогардскими карикатурами.¹¹³ Он подал ей руку, и, когда они проходили мимо меня, я снял шляпу и поклонился красавице – правда, не очень низко, для того чтобы ни на секунду не выпустить из глаз прелестей лица ее. Надобно думать, что взор мой стоил комплимента: на меня взглянули умильно и даже ласково! Почтмейстер встретил гостей в сенях, отвел им комнату и сам побежал за ключевою водою, в которой имела нужду красавица для освежения своих прелестей. Дверь затворилась, и я остался один в сенях. «Но разве эта дверь не отворяется?» – вздумал я тихонько отворил ее. Красавица стояла перед зеркалом и белым платком отирала пыль с белого лица своего; а спутник ее сидел на креслах и зевал. «Извините, – сказал я, – у меня здесь осталась книга». Горбатый кавалер кивнул головою и указал мне книгу мою, которая лежала на столе. Красавица отвортилась от зеркала и взглянула на меня такими быстрыми, проницательными глазами, что я, верно, бы покраснелся, если бы у меня что-нибудь дурное было на мысли; но я с спокойствием невинности смотрел на ее прекрасные голубые глаза, на ее правильный греческий нос, на ее розовые губы и щеки и любовался прелестями ее так, как молодой ваятель любит Микель-Анджеловою статуею или живописец Рафаэлевою картиною. – Красавица села, а я стоял против нее и все еще не брал своей книги. «День очень жарок», – сказала она приятным голосом, взглянув на своего спутника и на меня. Он зевнул, а я повторил ее слова: «День очень жарок». Тут последовало молчание. Зная, что женщины в *решиительных* случаях жизни никогда не говорят первого слова, я спросил наконец: «Не в Дрезден ли вы едете, сударыня?» – «Нет, – отвечала она, – мы едем в деревню к своему приятелю. А вы, конечно, сами в Дрезден едете?» – «Так, сударыня; я надеюсь быть там завтра очень рано». – «Вы, конечно, иностранец, если смею спросить?» – «Так, сударыня». – «Конечно, англичанин? Потому что англичане хорошо говорят по-немецки». – «Извините, сударыня; я москвитянин». – «Москвитянин? Ах, боже мой! Я еще отроду не видывала москвитян». – «А я видал», – сказал горбатый кавалер и начал снова

¹¹³ ...не последнею пиесой между гогардскими карикатурами. – Бытовые зарисовки и карикатуры У. Хогарда пользовались популярностью в «предромантической» среде. В них усматривали проявление стернианской иронии в живописи.

зевать. – «Да скажите, пожалуйста, как вы к нам заехали?» – «Из любопытства, сударыня». – «Надобно, чтобы вы были очень любопытны. Ведь вы, конечно, оставили в отечестве своем много любезного?» – «Много, сударыня, много: я оставил отечество и друзей». – Не знаю, до чего бы мы с нею договорились, если бы не пришел почтмейстер с водою и не сказал мне, что коляска моя готова. Я низко поклонился красавице, и она пожелала мне счастливого пути. – «И только?» – Что ж делать? Не хочу лгать.

Прекрасный лужок, прекрасная рощица, прекрасная женщина – одним словом, все прекрасное меня радует, где бы и в каком бы виде ни находил его. Образ милой саксонки остался в моих мыслях, к украшению картинной галереи моего воображения. – На сей последней перемене я решился ночевать. Теперь бьет десять часов. В четыре меня разбудят.

Дрезден, 12 июля

Утро было прекрасное; птички пели, и молодые олени играли на дороге. Тут вдруг открылся мне Дрезден на большой долине, по которой течет кроткая Эльба. Зеленые холмы на одной стороне реки, и величественный город, и обширная плодоносная долина составляют великолепный вид. – С приятными чувствами въехал я в Дрезден, и при первом взгляде показался он мне огромнее самого Берлина.

Я остановился в трактире на почтовом дворе и, одевшись, пошел к господину П*, к которому было у меня письмо из Москвы. Он принял меня очень ласково и вызвался было доставить мне приятные знакомства в Дрездене; но как я пробуду здесь не более трех дней и, следовательно, не буду иметь времени пользоваться знакомствами, то мне оставалось только благодарить его за добрую волю. Мы пошли с ним ходить по городу.

Дрезден едва ли уступает Берлину в огромности домов, но только улицы здесь гораздо теснее. Жителей считается в Дрездене около 35 000: очень не много по обширности города и величине домов! Правда, что на улицах и не много людей встречается; и на редком доме не прибито объявления об отдаче внаем комнат. За две или за три порядочно убранные горницы платят здесь в месяц не более семи или восьми талеров. – В некоторых местах города видны еще следы опустошения, произведенного в Дрездене прусскими ядрами в 1760 году. – С час стоял я на мосту, соединяющем так называемый Новый город с Дрезденом, и не мог насытиться рассматриванием приятной картины, которую образуют обе части города и прекрасные берега Эльбы. – Сей мост, длиною в 670 шагов, считается лучшим в Германии; на обеих сторонах сделаны ходы для пеших и места для отдохновения.

Господин П* хотел, чтобы я у него обедал. «Вы увидите мое семейство», – сказал он. Нас встретила женщина лет в сорок, почтенного вида, и молодая девушка лет в двадцать, не прекрасная, но миловидная и нежная. «Вот все мое семейство!» – сказал мне господин П* – ия поцеловал руку у той и другой. Обед был самый умеренный, однако ж и не голодный. Хозяин и хозяйка расспрашивали меня о России, и вопросы их были так умны, что ответы не приводили меня в затруднение. Господин П* хотя и не есть ученый, однако ж много читал; и за бутылкою старого рейнского вина, которую принесла нам сама хозяйка, говорил с великим жаром о творениях некоторых немецких поэтов. Миловидная Шарлотта по большей части молчала, но взоры и улыбки ее были красноречивы. После обеда она играла на клавесине, хотя в немецком вкусе, однако ж не без приятности. – От них пошел я в славную картинную галерею,¹¹⁴ которая почитается одною из первых в Европе. Я был там три часа, но на многие картины не успел и глаз оборотить; не три часа, а несколько месяцев надобно, чтобы хорошенько осмотреть сию галерею. Я рассматривал со вниманием Рафаэлеву^[12] Марию (которая держит на руках

¹¹⁴ ...пошел я в славную картинную галерею... – Искусствоведческий экскурс, включенный здесь Карамзиным в текст «Писем», создал традицию оценки западноевропейских художников в русской литературе. Рассказ о том, что Микеланджело «умертил человека», вспоминает Сальери в драме Пушкина «Моцарт и Сальери».

младенца и перед которою стоят на коленях св. Сикстус и Варвара); Корреджиеву ^[13] «Ночь», о которой столько писано и говорено было и в которой наиболее удивляются смеси света с тьмою; Микель-Анджелову ^[14] картину, представляющую осужденного на смерть человека и вдали город; картины Юлия Романа: ^[15] Пана, который учит на флейте молодого пастуха; играющую Цецилию, окруженную святыми, и проч. – Веронезовы: ^[15] «Воскресение», «Похищение Европы», и проч. – Караччиевы: ^[16] «Гения славы», летящего по воздуху; «Марию с младенцем, Матвеем и Иоанном», и проч. – Тинторетовы: ^[17] «Аполлона с музами», «Падение ангелов», и проч. – Бассановы: ^[18] «Израильский народ в пустыне», «Ноево семейство», и проч. – Джордановы: ^[19] «Похищение сабинок», «Умиающего Сократа», «Сусанну в купальне», и проч. – Розовы: ^[20] собственный его портрет и ландшафт с деревьями, где сидящий старик говорит с двумя стоящими, – Пуссеневы: ^[21] «Ноево жертвоприношение», ландшафт с двумя сидящими нимфами и с Нарциссом, который смотрится в воду, и еще другой, где спит нагая нимфа, которую рассматривают из-за дерева двое мужчин, – Рубенсовы: ^[22] сидящую Марию с младенцем, которому ангелы подают плоды; «Страшный суд», «Христа, спящего на корабле во время бури», «Похищение Прозерпины», «Пьяного Силена с нимфами», «Венеру с Адонисом», «Наказываемого Купидона», которого одна женщина держит на руках, а другая сечет лозою; «Нептуна, укрощающего море», и проч. – Фан Диковы ^[23] изображения королей Карла II и Якова II; Иеронима, у ног которого лежит лев, и проч. – и, наконец, Менгсовы, которых очень много. Между прочими картинами есть прекрасные перспективы и такие живые изображения

¹¹⁵ Юлий Роман, лучший Рафаэлев ученик, имел плодотворное воображение и был весьма искусен в рисовке. Все фигуры его вообще очень хороши. Только жаль, что он следовал антикам более, нежели натуре! Можно сказать, что рисунки его слишком правильны и оттого все его лица слишком единообразны. Тело он писал кирпичного цвета, так, как Микель-Анджело, и краски его вообще темны. Он родился в 1492, а умер в 1546 году.

¹¹⁶ Немногие из живописцев имели такое плодотворное воображение, как Аннибал Караччи, и немногие превзошли его в рисовке; а в последних его картинах, писанных в Риме, и самые краски очень хороши. Лучшее произведение его кисти есть Фарнезская галерея в Риме, над которою он восемь лет трудился и за которую заплатили ему весьма худо, для того что у него было много завистников и неприятелей. Он родился в 1560, а умер в 1609 году. Его погребли подле Рафаэля, которого он любил более всех живописцев.

¹¹⁷ Тинторет, венецианский живописец, старался в своих картинах соединить вкус Микель-Анджело с Тициановым, то есть первому подражал он в рисунках, а второму в красках. (Тициан считается первым колористом в свете.) Картины его весьма неравной цены, и потому говорили о нем, что он пишет иногда золотою, иногда серебряною, а иногда железною кистью. Он родился в 1512, а умер в 1594 году.

¹¹⁸ В Бассановых картинах надобно удивляться живописи красок, а в рисовке был он не весьма искусен, подобно всем венецианским живописцам. Тело писал очень живо, а платье нехорошо. Ландшафты его прекрасны. – Он родился в 1570, а умер в 1592 году.

¹¹⁹ Во всех Джордановых картинах видна отменная легкость кисти; но как он писал слишком много, то почти все картины его недоделаны, и вообще рисовка не очень правильна. Главною его моделью был Павел Веронез; но он умел подражать всем лучшим живописцам, так что самые знатоки иногда обманывались и принимали его подражание за оригинал. – Он родился в Неаполе в 1632, а умер в 1705 году.

¹²⁰ Салватор Роза, неаполитанский живописец, писал лучше ландшафты, нежели исторические картины. Фигуры его по большей части неправильны, однако ж в них видна смелая кисть и отменная живость. Деревья, горы и вообще всякие виды писал он прекрасно. Родился в 1615, а умер в 1675 году.

¹²¹ В картинах Николая Пуссена, славного французского живописца, видны высокие мысли и живое выражение страстей; рисовка его правильна, но краски не очень хороши. В сем подобен он римским живописцам, которые вообще не уважают колорита. Ландшафты его прекрасны. Он родился в 1594, а умер в 1663 году.

¹²² Рубенс по справедливости называется фландрским Рафаэлем. Какой пиитический дух виден в его картинах! Какие богатые мысли! Какое согласие в целом! Какие живые краски, лица, платья! Он никак не хотел подражать антикам и писал все с природы. К совершенству его картин недостает той правильности в рисовке, которою славится римская школа. – Рубенс способен был не только к живописи, но и к важным государственным делам и, будучи посланником в Англии, умел согласить Карла I на мир с Испанией. Возвратясь во Фландрию, женился он на Елене Форман, славной красавице, которая часто служила ему моделью. Он родился в 1577, а умер в 1640 году.

¹²³ Фан Дик, Рубенсов ученик, есть, конечно, первый портретный живописец в свете. Колорит его не уступает Рубенсову: головы и руки писал он прекрасно. Но для исторической живописи был уже не так способен, для того что не имел Рубенсова пиитического духа. Король Карл I призвал его в Англию, где он мог бы обогатиться от своей работы, если бы жил умереннее и не прилепился к алхимии. Он родился в 1599, а умер в 1641 году.

винограда и других плодов, что хочется их взять. – Самые лучшие картины перешли в Дрезденскую галерею из Моденской, например Корреджиева «Ночь». Август III, польский король, был великий любитель живописи и не жалел денег на покупку хороших картин.

Надзиратель сказывал, что за несколько недель перед тем украли из галереи картин десять, и притом самых лучших; но что, к счастью, воров скоро отыскали, и картины возвратились на прежнее свое место. – Выходя, вручил я господину надзирателю голландский червонец.

Надобно было еще видеть так называемую зеленую кладовую (*das Grüne Gewölbe*), или собрание драгоценных камней, которому в целом свете едва ли есть подобное, и, чтобы взглянуть на этот блестящий кабинет саксонского курфюрста и после сказать: «Я видел редкость!», надобно заплатить голландский червонец. Мне сказывали, что один знатный француз, смотря на камни, сказал курфюрсту: «Хорошо, очень хорошо: а что это стоит вашей светлости?»

После картинной галереи и зеленой кладовой третья примечания достойная вещь в Дрездене есть библиотека, и всякий путешественник, имеющий некоторое требование на ученость, считает за должность видеть ее, то есть взглянуть на ряды переплетенных книг и сказать: «Какая огромная библиотека!» – Между греческими манускриптами показывают весьма древний список одной Эврипидовой трагедии, проданный в библиотеку бывшим московским профессором Маттеем; за сей манускрипт, вместе с некоторыми другими, взял он с курфюрста около 1500 талеров. Спрашивается, где г. Маттей достал сии рукописи?¹²⁴

Вечеру гулял я в саду, который называется *Zwinger Garten*¹²⁵ и который хотя невелик, однако ж приятен. Посланника нашего нет в Дрездене. Он поехал в Карлсбад.

Июля 12

Ныне поутру вошел я в придворную католическую церковь во время обедни. Великолепие храма, громкое и приятное пение, сопровождаемое согласными звуками органа; благоговение молящихся, к небу воздетые руки священников – все сие вместе произвело во мне некоторый восхитительный трепет. Мне казалось, что я вступил в мир ангельский и слышу гласы блаженных духов, славословящих неизреченного. Ноги мои подогнулись; я стал на колени и молился от всего сердца.

Июля 12, в 10 часов вечера

После обеда был я в гостях у нашего молодого священника, где познакомился еще с секретарем нашего министра,¹²⁶ а оттуда пошел один гулять за город, в так называемый Большой сад. Длинная аллея вывела меня на обширный зеленый луг. Тут на левой стороне представлялась мне Эльба и цепь высоких холмов, покрытых леском, из-за которого выставляются кровли рассеянных домиков и шпицы башен. На правой стороне поля, обогащенные плодами; везде вокруг меня расстилались зеленые ковры, усеянные цветами. Вечернее солнце кроткими лучами своими освещало сию прекрасную картину. Я смотрел и наслаждался; смотрел, радовался и – даже плакал, что обыкновенно бывает, когда сердцу моему очень, очень весело! – Вынул бумагу, карандаш; написал: «Любезная природа!» – и более ни слова!! Но едва ли когда-нибудь чувствовал так живо, что мы созданы наслаждаться и быть счастливыми; и едва ли когда-нибудь в сердце своем был так добр и так благодарен против моего творца, как в сии минуты. Мне казалось, что слезы мои льются от живой любви к Самой Любви и что они должны смыть некоторые черные пятна в книге жизни моей.

¹²⁴ ...где г. Маттей достал сии рукописи? – Как выяснилось впоследствии, Маттей похитил эти рукописи в Московском университете.

¹²⁵ Сад при Цвингере (нем.). – Ред.

¹²⁶ Секретарь министра – секретарь посла. Русским посланником в Саксонии в эти годы был кн. А. М. Белосельский-Белозерский, секретарем его в 1789 г. был Г. П. Смирнов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Написана Карамзиным в 1805 или 1806 г. для словаря с российских писателях, который готовил Евгений Болховитинов.

2.

Впервые – «Московский журнал», 1792, июнь.

3.

«Письма русского путешественника» были преподнесены читателю автором как собрание реальных писем. Карамзин старался внушить мысль, что «Письма русского путешественника» – не литературное произведение, обдуманное и построенное по законам художественного текста, а «жизненный документ». Изучение текста убеждает, однако, в противоположном: «Письма русского путешественника» (в дальнейшем: «Письма») никогда не были реальными письмами, создавались они не в дороге, а после возвращения в Москву, что прежде всего вытекает из анализа дат, проставленных автором в «Письмах».

4.

Стоя перед карикатурами королевы французской и римского императора... – То есть Марии-Антуанетты и Иосифа II. Упоминание Марии-Антуанетты, которую парижские карикатуристы тех дней изображали как «австриячку», «австрийскую пантеру», вместе с ее братом, австрийским императором, вдохновителем антифранцузской коалиции 1790-х гг., позволяет предположить, что речь идет о парижской лубочной карикатуре, попавшей на стену тверского трактира. Парижские сатирические картинки в 1789–1790 гг. продавались в России «у братьев Ге, торговавших одновременно в Петербурге и Москве» (см.: Штрэнге М. М. Русское общество и французская революция 1789–1794 гг. М., 1956, с. 55). Упоминание исторических лиц в «Письмах» привлекало внимание читателей к событиям в Париже. Особенно это должно было бросаться в глаза читателю первого полного издания «Писем», который уже знал о казни Марии-Антуанетты.

5.

...г. 3... – Василий Николаевич Зиновьев – дипломат, масон. Возвращался в Россию после путешествия по Италии с Сен-Мартеном, близким другом которого он был, и пребывания в Лондоне у своего родственника и друга С. Р. Воронцова. Встреча Карамзина и Зиновьева не была случайной, и обстоятельства ее рассказаны в «Письмах» не совсем точно: в то время Зиновьев не находился в дороге, а остановился недалеко от Риги, сопровождая большую жену масона Кошелева. Как и Кошелев, Зиновьев был связующим звеном между русским масонством и наиболее либеральными кругами французского масонства. Враг крепостного права, сторонник английского парламентаризма, знакомый Радищева, друг братьев Воронцовых, отлично ориентирующийся в идеологической жизни Запада, Зиновьев вряд ли беседовал с Карамзиным лишь о состоянии дорог в Пруссии. Совет Зиновьева Карамзину не ехать через Берлин, а отправляться в Вену, видимо, связан с его отрицательным отношением к односторонне берлинской ориентации московских масонов.

6.

Доктор Фауст, по суеверному народному преданию, есть великий колдун и по сие время бывает обыкновенно героем глупых пьес, играемых в деревнях или в городах на площадных театрах странствующими актерами. В самом же деле Иоанн Фауст жил как честный гражданин во Франкфурте-на-Майне около середины пятого-надесять века; и когда Гутенберг,

майнцский уроженец, изобрел печатание книг, Фауст вместе с ним пользовался выгодами сего изобретения. По смерти Гутенберговой Фауст взял себе в помощники своего писаря, Петра Шопффера, который искусство книгопечатания довел до такого совершенства, что первые вышедшие книги привели людей в изумление; и как простолюдины того века приписывали действию сверхъестественных сил все то, чего они изъяснить не умели, то Фауст провозглашен был сообщником дьявольским, которым он слывет и поныне между чернию и в сказках. — А Ганс Вурст значит на площадных немецких театрах то же, что у итальянцев Арлекин.

7.

Потом я... обратил разговор на природу и нравственность человека... — Характер разговора, а также умение, с которым Карамзин побеждает трудности передачи на русском языке своего времени метафизических идей Канта, убеждают, что еще в Москве Карамзин познакомился с основами его системы. То, что в числе произведений Канта, которых он еще не читал, Карамзин называет лишь «Критику практического разума» и «Метафизику нравов» («Основы метафизики нравов», вышедшие в Риге в 1785 г.; работа под заглавием «Метафизика нравов» была опубликована Кантом лишь в 1797 г.), можно рассматривать как указание на знакомство с «Наблюдением над чувством прекрасного и возвышенного» (1764), «Критикой чистого разума» (1781) и «Пролегоменами ко всякой будущей метафизике» (1783). «Обратив разговор на природу и нравственность человека», Карамзин проявил большое понимание внутренней логики философских интересов Канта, которого именно в этот период глубоко занимали вопросы антропологии. На эту тему он прочел осенью 1772 г. специальный курс лекций и потом обращался к нему в ряде работ. В период разговора с Карамзиным Кант уже работал над «Антропологией с прагматической точки зрения», которую он издал в 1798 г.

8.

...верит магнетизму... — Агностик Кант интересовался возможностями критического объяснения мистических явлений. См. его письма г-же Кноблах (10 августа 1763 г.) и философу Мендельсону (8 апреля 1766 г.) Вопрос этот, также живо интересовавший Карамзина, был одной из вероятных тем беседы. То, что первым мыслителем Запада, которого посетил Карамзин, стремящийся выйти из-под опеки московских мистиков, был Кант, не случайно, а, с точки зрения композиции книги, — весьма знаменательно. Сочетание скептицизма и гуманизма, утверждений об ограниченности возможностей человеческого разума и веры в нравственный закон, врожденный человеку, свойственное системе Канта, как бы задает философскую направленность странствования русского путешественника по миру европейских идей. Этому соответствует и облик Канта, нарисованный Карамзиным: сочетание терпимости к противникам, глубокомыслия и житейской простоты.

9.

Алексея Михайловича Кутузова, добродушного и любезного человека, который через несколько лет после того умер в Берлине, был жертвою несчастных обстоятельств. Алексея Михайловича Кутузова... умер в Берлине, был жертвою несчастных обстоятельств... — Писатель, переводчик, друг Радищева и один из масонских наставников Карамзина. Как философ и литератор сыграл значительную роль в формировании идейно-художественной позиции автора «Писем». В 1789 г. находился в Берлине как представитель восьмой масонской провинции, какой была признана Россия на Вильгельмсбаденском конгрессе 1782 г. при европейском центре, которым тогда же был признан Берлин. После того как стало известно, что Радищев посвятил Кутузову «Путешествие из Петербурга в Москву», въезд в Россию для Кутузова оказался закрытым. Разгром новиковского кружка лишил Кутузова всяких

материальных средств. Он скончался в 1797 г. в Берлине в страшной нужде – умер в долговой тюрьме от голода, – но сохранил доверенные ему орденские ценности.

10.

...А* не хотел меня дожидаться в Берлине! – Поездка А. М. Кутузова в Париж в начале лета 1789 г. до сих пор остается загадочной. Вероятнее всего, она была вызвана желанием московских «мартинистов» (масонов) выйти из-под одностороннего подчинения берлинскому центру, который возбуждал недовольство своим деспотизмом, проникновением в него очевидных шарлатанов, а также смыканием с правительственными кругами Пруссии, враждебной в эти годы России. Последнее обстоятельство весьма тревожило правительство Екатерины II и создавало для новиковского окружения дополнительные опасности. Это, видимо, обусловило маршрут Кутузова – Франкфурт-на-Майне был местом нахождения ложи «Единение», связанной с антиберлинским «Эклектическим союзом» лож. Однако главная дорога вела в Париж. Французское масонство было разделено на две провинции: Лион был центром сторонников Вильгельмсбаденского конгресса и диктатуры Берлина, а Париж занимал антиберлинскую позицию. Среди парижского масонства быстро зрели социально-реформаторские настроения, вылившиеся позже в деятельность революционно-утопического «Социального кружка». Поездка двух полномочных представителей новиковской группы – Кутузова и Багрянского – в эти дни в Париж вряд ли не была связана с поисками новой европейской ориентации для русских «мартинистов» (сам Сен-Мартен, по имени которого кружок Новикова получил прозвание, в это время порвал с лионскими масонами и, увлекшись предреволюционными настроениями, превратился в мыслителя социально-утопической ориентации).

11.

Ныне был я у старика Рамлера... – Карамзин дает широкий обзор интеллектуальной жизни Берлина: Путешественник посещает Николаи, Формея, Рамлера, Морица, упоминает Кампе, Энгеля, проявляя полную осведомленность как в творчестве, так и в литературных отношениях этих писателей. Он не скрывает устарелости их воззрений и подчеркивает их взаимную нетерпимость. Со своей стороны Путешественник демонстративно уклоняется от осуждения тех или иных литераторов, выражая неодобрение формулой умолчания. Такая позиция требовала и от него, и от читателя большой культуры – понимания не только того, что сказано, но и того, что обойдено молчанием. Так, говоря о Формее, он умалчивает, что тот был автором на шумевшей реакционной и грубо бестактной книги против «Эмиля» Руссо, но через несколько страниц дает от своего лица исключительно высокую оценку Руссо. Карамзин рассчитывает на читателя, который поймет и оценит смысл его умолчаний, собственную позицию и терпимость «русского путешественника».

12.

Рафаэль, глава римской школы, признан единогласно первым в своем искусстве. Никто из живописцев не вникал столько в красоты антиков, никто не учился анатомии с такою прилежностью, как Рафаэль, – и потому никто не мог превзойти его в рисовке. Но знания, которые сим средством приобрел он в форме человеческой, не сделали бы его таким великим живописцем, если бы натура не одарила его творческим духом, без которого живописец есть не что иное, как бедный копист. Небесный огонь оживляет черты кисти его, когда он изображает божество; в чертах героев его видно непобедимое мужество: в образе Венеры или Роксаны умел он соединить все женские прелести, в образе Марии – красоту, невинность и святость. Лица тиранов, им изображенные, приводят в ужас: в лицах мучеников его надобно удивляться живым чертам небесного терпения. – Правда, что картины его неравной цены;

последние несравненно превосходнее первых. Преображение Христово считается лучшим его произведением. – Сей великий художник скончал жизнь свою преждевременно, от чрезмерной склонности к женскому полу, склонности, которая вовлекла его в распутство. Он родился в Урбино в 1483, а умер в Риме в 1520 году.

13.

Корреджио, первый ломбардский живописец, почти без всякого руководства достиг до высочайшей степени совершенства в своем искусстве, не выезжав никогда из своего отечества и не видав почти никаких хороших картин, ни антиков. Кисть его ставится в пример нежности и приятности. Рисовка не совсем правильна, однако ж искусна; головы прекрасны, а краски несравненны. Нагое тело писал он весьма живо, а лица его говорят. Одним словом, картины его отменно милы даже и для незнающих: и если бы Корреджио видел все прекрасные творения искусства в Риме и в Венеции, то превзошел бы, может быть, самого Рафаэля. – Всю жизнь свою провел он в бедности, был скромн, доволен малым и человеколюбив. Причина его смерти достойна замечания. Продав в Парме одну картину свою, взял за нее мешок медных денег и пошел с ним пешком в Корреджио. День был жарок, и ему надлежало перейти четыре мили. Радуюсь тому, что полученными деньгами может на некоторое время вывести из нужды семейство свое, не чувствовал он усталости; но пришедши домой, занемог горячкою, которая через несколько дней прекратила жизнь его. Он родился в 1532, а умер в 1588 году.

14.

Микель-Анджело был великий архитектор, живописец и резчик. Построенный им купол церкви св. Петра служит доказательством искусства его в архитектуре. Что принадлежит до картин его, то они не столько приятны, сколько удивительны, для того что он всегда хотел представлять трудное и чрезвычайное. Зная хорошо анатомию, старался он слишком сильно означать мускулы в своих фигурах; а тело писал всегда кирпичного цвета. Но если Микель-Анджело не первый живописец по своей кисти, то едва ли кто-нибудь превзошел его в рисовке. – В скульптуре был он, кажется, еще искуснее. Его «Купидон», «Бахус» и «Молодой сатир» считаются лучшими творениями сего художества. – Микель-Анджело был остроумен. Когда папа Юлий спросил у него с неудовольствием, для чего он в писанных им картинах из Ветхого завета не употребил золота, по примеру старинных живописцев, то он с покорным видом отвечал, что святые мужи, им изображенные, считали блеск одежды за ложное украшение человека. Желая дать знать Рафаэлю, что он видел в Фарнезских палатах картину его, «Галатею», начертил он углем на стене Фаунову голову, которую и ныне там показывают. Рафаэль, увидев ее, сказал, что никто, кроме Микеля-Анджело, не мог начертить такой головы. – Показывая Микель-Анджелову картину распятия Христова, рассказывают всегда, будто бы он, желая естественнее представить умирающего Спасителя, умертвил человека, который служил ему моделью; но анекдот сей совсем невероятен. – Он родился в 1474, а умер в 1564 году.

15.

Картины Павла Веронеза превосходны по живости и приятности фигур и по свежести красок. Натура была образцом его; однако ж, как великий художник, умел он исправлять ее недостатки. – Между прочим, рассказывают об нем следующий анекдот. Однажды в окрестностях Венеции застала его на дороге буря с дождем, и он принужден был требовать убежища в загородном доме прокуратора Пизани, который принял его так ласково и дружелюбно, что живописец не мог выехать от него несколько дней. В то время написал он тихонько Дариеву фамилию (картину, на которой изображено двадцать фигур во весь рост) и

спрятал ее под кровать; а прощаясь с хозяином, сказал ему, что он оставил там нечто в знак своей благодарности за его угощение. – Он родился в 1532, а умер в 1588 году.